

Женщины Лазаря

Автор:

Марина Степнова

Женщины Лазаря

Марина Львовна Степнова

Марина Степнова – прозаик, переводчик с румынского. Ее роман «Хирург» (лонг-лист премии «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР») сравнивали с «Парфюмером» П. Зюскинда.

Новый роман «Женщины Лазаря» – необычная семейная сага от начала века до наших дней. Это роман о большой ЛЮБВИ и большой НЕ ЛЮБВИ. Лазарь Линдт, гениальный ученый, «беззаконная комета в кругу расчисленных светил», – центр inferнальных личных историй трех незаурядных женщин. Бездетную Марусю, жену его старшего друга, смешной юноша полюбит совсем не сыновней любовью, но это останется его тайной. После войны в закрытом городе N светило советской науки влюбится по уши в молоденькую Галину и буквально украдет в «другую жизнь», но... заслужит только ненависть. Третья «женщина Лазаря» внучка – сирота Лидочка унаследует его гениальную натуру.

Марина Степнова

Женщины Лазаря

Глава первая

Барбариска

В 1985 году Лидочке исполнилось пять лет, и жизнь ее пошла псу под хвост. Больше они так ни разу и не встретились – Лидочка и ее жизнь, – и именно поэтому обе накрепко, до гула, запомнили все гладкие, солоноватые, влажные подробности своего последнего счастливого лета.

Черное море (черное, потому что никогда не моет руки, да?), похожий на рассыпавшиеся спичечные коробки пансионат, пляж, усеянный обмякшими картонными стаканчиками из-под плодово-ягодного (папа говорил – плодово-выгодного) мороженого и огромными раскаленными телами. Утренний проход к облюбованному местечку, вежливый перебор ногами, чтобы не зацепить пяткой или полотенцем чужую, буйную, отдыхающую плоть. Лидочка быстро теряла терпение, и стоило мамочке хоть на секунду отвлечься на соседку по столовскому столику или бродячего торговца запрещенной сахарной ватой, как Лидочка срывалась со строгого визуального поводка и, без разбору молотя круглыми толстыми пятками, с пронзительным верещанием бросалась к морю.

Потревоженные, как сивучи, курортники приподнимались, вытряхивали из влажных расщелин и синтетических складок крупный, словно перловка, утренний песок, улыбались в ответ на извинительные родительские причитания – ничего, нехай дите порадуетя! Ишь, поскакала, егоза! Вы понимаете, она у нас в первый раз на море... А вы сами откуда будете? Из Энска. О, далеко забралися. А мы из Криворожья, получили вот путевошки от завода, правда, Мань? Маня радостно кивала добрым ртом, щедро набитым золотой рудой, и сдвигала в кучу барахло, чтобы папе было удобнее постелить полотенце. Вы в Солнечном отдыхаете? Да-да. Мамочка торопливо выпутывалась из сарафана, потрескивая искрами и швами ненастоящего шелка. А мы в Красном Знамени. Очень приятно.

Готовой вспыхнуть многолетней дружбе – с открытками на календарные праздники и взаимными визитами через всю страну – мешали жара и Лидочка, золотистая, оглушительная, гладкая, блещущая в мелком всенародном прибое. Мамочка никак не могла отвлечься от нее – ни на вспотевший арбуз, сахарно хрустнувший под хищным перочинным ножом мирного криворожского пролетария, ни на вечного пляжного «дурачка» (позвольте, а что у нас – козыри? Нет, червы были в прошлый раз!), ни на нескончаемо запутанные монологи из заманчивой незнакомой жизни. И тогда Петрович, брат мой, грит – мол, забирай, Лариска, дите и перебирайся ко мне, места хватит, а он и правда только от правления комнату получил – двенадцать метров, хоть свадьбу играй, хоть на мотороллере катайся! Романтический пунктир судьбы никому не известного

Петровича грозил превратиться в линию сплошного человеческого счастья, но мамочка только рассеянно улыбалась.

В другой раз она с наслаждением примерила бы на себя чужую, невозможную судьбу – только для того, чтобы убедиться, как ладно и ловко скроена ее собственная. Но стоило истории заложить очередной сюжетный вираж, полный коммунальной нищеты и прижитых во грехе младенцев (почему-то скудный советский быт всегда провоцировал невиданные, прямо-таки байронические страсти), как Лидочка, хохоча, отпрыгивала от щекотной волны, и нить истории безнадежно ускользала. Горизонт, мреющий, дрожащий от нарастающего жара, слепил глаза, мамочка испуганно жмурилась, не находя среди облезлых плеч, титанических задниц и ликующих воплей знакомую дочкину панамку. Слава богу, вот она. Лидочка в ответ махала рукой и, не снимая красно-синий надувной круг, присаживалась на корточки – лепить из песка аппетитный куличный домик с термитными башенками, выдавленными из маленького горячего кулака.

Панамка из белого шитья бросала живую дырчатую тень на Лидочкины загорелые щеки, но тень от ресниц была еще прозрачнее и длиннее – ой и ладненькая у вас доча, тьфу на нее, шоб не сглазить. Мамочка благодарно – двумя руками, как хлеб, – принимала похвалу, но втайне с ликующей, клокочущей уверенностью даже не чувствовала – знала, что ничего Лидочка не ладненькая, а единственная. Неповторимая. Самый прекрасный ребенок на свете – с самой прекрасной, безукоризненно счастливой судьбой. Мамочка с тихой изумленной улыбкой смотрела на дочку, а потом на свой живот – молодой, тугий, совсем не изуродованный ранними родами, и сама не верила, что Лидочка – круглоглазая, как щенок, с шелковыми горячими лопатками и невесомыми взрослыми завитками на смуглой толстенькой шее – когда-то вся-вся помещалась там, внутри, а еще раньше вообще не существовала. Тут мамочкины мысли, достигнув окраины постижимого, начинали опасно буксовать, словно зависший над пропастью грузовик – надсадный вой агонизирующего мотора, два колеса тщетно наматывают на лысые шины густеющий воздух, два других – горстями швыряют мелкую, словно взрывающуюся от напряжения щебенку. Еще секунда до падения, секунда, секунда, прыгает перед глазами прозрачный пластиковый игрушечный чертик, Вовка сделал из капельницы, три рубля мне должен, зараза, теперь уж точно не отдаст, так вот, значит, как это, вот как умирают, вот о чем я уже никогда и никому не смогу рассказать... Ну почему небытие до рождения пугает меня больше, чем посмертная пустота? Почему умирать так не страшно, гос-пади-помилуй-и-пронеси?

– Ты бледная что-то, Нинуша, – встревожено говорил папа и целовал мамочку в плечо. Кожа под губами и языком была горячая и сухая, как будто слегка подкрахмаленная. – Не перегрелась?

Мамочка виновато улыбалась. Морок отпускал ее, и душа, мелко крестясь, вырливалась на основную дорогу – взмокшая от ужаса, спасенная, изнемогающая, но самым-самым своим краешком тоскующая, что так и не узнала что там – за последней секундой, после которой только кувыркающийся полет вперегонки с бесшумными обломками железа, и треск рвущихся мышц, и... и... и... Мамочка растерянно пыталась представить себе то, что невозможно себе представить, терлась лбом о спасительную мужнину руку – крепкую, в крупных веснушках и родных рыжеватых махрах. Да, жарко что-то, милый. Голова закружилась.

Лидочка, в свои пять лет еще совершенный звереныш, почуяв неладный потусторонний сквознячок, тотчас бежала к матери – горячая, ловкая, в невиданных импортных трусиках-недельках. Каждый день – новый цвет, каждый день – новая смешная аппликация. Розовые трусики с земляничной – понедельник. Голубые с нахохлившимся зайкой – вторник. Желтые со щербатым подсолнухом – среда. Ма, ты чего? Мамочка нежными губами трогала дочкины веки – один глазик, другой – все в порядке, Барбариска, ты не обгоришь у меня, а? Не, успокоившаяся Лидочка выворачивалась из ласкающих рук, рвалась обратно к морю, новые пляжные знакомцы приветливо скалились. Лида, Лидочка, Леденец, Барбариска – маленькие семейные прозвища, воркующий говорок родительской страсти. Никогда и никто больше так сильно. Никто и никогда.

– Не удирай, партизанка, – папа подхватил Лидочку на руки, ловко перевернул, так что Лидочка зашлась от смеха: небо и море плавно поменялись местами, вот-вот посыплются в облака кораблики на горизонте, кусачие рыбы, морские коньки, все плыло, таяло, висели на невидимых нитках оглушительные чайки, парила между небом и морем сама Лидочка.

Это и было счастье – родные, горячие руки, которые никогда тебя не выпустят, не уронят, даже если перевернулся весь мир. Она потом это поняла. Очень сильно потом.

– Посиди с тетей Маней и дядей Колей, – велел папа, опуская Лидочку на песок, и море снова стало внизу, а небо – вверху. Как обычно. – Посидишь? А мы с мамочкой сплавом, а то она у нас совсем-совсем сварилась.

– Идите, идите себе спокойно, – сдобно загудела тетя Маня, – я своих двоих на ноги подняла, да внучка третья на подходе – глаз с вашей красотули не спущу. Купайтесь на здоровье.

– Мы не надолго, – виновато пообещала мамочка и прижалась к Лидочке мягкой огненной щекой. – Слушайся тетю Маню. Я тебя очень и очень люблю.

Лидочка невнимательно кивнула – тетя Маня с заговорщицким видом производила в своей сумке какие-то энергичные раскопки, и ясно было, что извлечет она что-то очень и очень интересное. Дядя Коля тоже выглядел заинтригованным – видно было, что его жизнь с женой до сих пор полна молодых, волнующих сюрпризов. Опаньки! – с цирковой интонацией воскликнула тетя Маня и одарила Лидочку громадным персиком – нежно-шерстяным, горячим, тигрово-розовым от переполнявшего его света. Волна толкнула прохладной лапой мамочкин живот, и по спине и плечам тотчас шарахнулись торопливые мурашки. Лидочка, зажмурившись, понюхала щекотный персик. Давай, кто быстрее до буйков, Нинуш? Мамочка тряхнула головой и доверчиво улыбнулась. Кушай, доча, – ласково напутствовала тетя Маня, дядя Коля уже обстукивал об коленку вареное яйцо, добытое из той же сумки, на газетке один за другим, как в фокусе, появлялись уродливые помидорины «бычье сердце», ломти экспроприированного из столовой хлеба, колбаска, рыночный, насквозь золотой виноград. По восемьдесят копеек сторговалась, похвасталась тетя Маня и с одинаковой бездумной нежностью погладила сперва нагретую солнцем головку Лидочки, а потом – стриженный дегенеративный затылок своего пролетарского мужа, – ох, и золотая ты у меня, хозяйка, Маруська, сам себе завидую, чессло...

Лидочка доела персик почти до половины, переводя дух и подстанывая от удовольствия, липкий сок заливал ей подбородок, толстенький, загорелый живот – да не размазывай, доча, я тебя потом накупаю, будешь чистенькая, как яблочко, мамка-то где у тебя работает? Ишь ты – и папка тоже чертежи рисует? А комнат у вас сколько? Слышь, Коль, я ж говорила, что на севере инженера?м трехкомнатные квартиры сразу дают, а ты – на фиг Генке техникум, пусть сразу на завод идет! Так и подохнут с семьей в общаге. А зарплаты у мамки с папкой большие? Не знаешь? Ну, кушай, доча, кушай, дай тебе бог здоровычка, и мамке твоей с папкой тоже...

Крик раздался внезапно, жуткий, на одной ноте – ААААА! Лидочка поперхнулась, выронила персик, его тут же облепило крупным песком – прямо по самой лакомой мякоти, уже не отмоешь, на выброс, жалко-то как, а крик все приближался, пока не взвинтился на такие запредельные высоты, что пляжная картинка, словно нарисованная на толстом полупрозрачном стекле, тотчас помутнела и вся пошла быстрой паутиной испуганных трещин. Отдыхающие медленно, как сомнамбулы, поднимались с полотенец и лежаков, кто-то уже бежал к берегу, расталкивая остальных.

ААААААА! ПА-МА-ГИ-ТЕ! ПА-МА-ГИ-ТЕ!

Тетя Маня испуганно перекрестилась, господи исусе, Коль, глянь, что случилось, только не реви, доча, это кому-то, видно, головку напекло, пойдем тоже посмотрим. Лидочка все оборачивалась на упавший и безнадежно испорченный персик. Она и не думала реветь. Наоборот – было ужасно интересно.

Папа стоял на коленях на самой пляжной кромке и его, как маленького, тянул за руку рослый мокрый парень, один из отряда бугристых спасательных кариатид, которые обычно сутками торчали на своей деревянной вышке, обжираясь мороженым, заигрывая с курортницами, но по большей части, конечно, дуря от скуки.

– Вы в порядке, товарищ? – спрашивал парень у папы, участливо выставив зад в пламенеющих плавках, и из толпы любопытствующих кто-то ответил укоризненным баском:

– Какое в порядке! Не видишь! Потоп человек!

– Не потоп, а баба его потопла, – поправили басовитого, и папа, наконец вырвав у парня руку, вдруг мягко и глухо охнул и упал ничком, будто игрушка, которую случайно пихнули локтем с насиженного места.

Спасатель распрямился, растеряно озираясь, но сквозь кольцо отдыхающих уже пробивалась, покрикивая, белая и юркая, как моторка, докторша – и точно такая же белая и юркая, но уже настоящая моторка крутилась у буйков, нарезая взволнованные круги, и с нее с беззвучным плеском ныряли в гладкие волны другие спасатели, перекрикиваясь далекими, колокольными, молодыми голосами.

– Ишь ты, жена утонула, а сам целый, – не то укорил, не то позавидовал кто-то невидимый, неразличимый в голой, потной, гомонящей толпе, и папа, словно услышав эти слова, тотчас поднялся – весь, как недоеденный Лидочкой персик, облепленный тяжелым бурым песком.

Он вдруг задрал голову к небу и погрозил кулаками кому-то сверху – жестом такой древней и страшной силы, что он не был даже человеческим. Шаловливая волнишка решилась подлизаться к нему, припала к розовым, детским каким-то пяткам, но вдруг перепугалась и бросилась назад, в море – к своим. Папа обвел отдыхающих голыми мокрыми глазами.

– Нет, – сказал он вдруг совершенно спокойно. – Это все неправда. Нам пора обедать. Мы сейчас пойдем обедать. Где моя дочь?

Лидочка выдернула из кулака тети Мани маленькую, липкую от персикового сока руку и бросилась прочь, увязая в сыпучем, горячем – сыпуче и горячо. Что-то отчетливо лопалось у нее в голове, маленькими частыми взрывами – словно срабатывали крошечные предохранители и, не выдержав напряжения, перегорали – один за другим, один за другим. Пока не стерлось все, что нужно было стереть.

(Только тринадцать лет спустя, глядя по Би-би-си неторопливую документалку про семью орангутангов, Лидочка внутренне запнулась, когда самец, едва отбивший детеныша у аллигатора, выскочил на берег, по-человечески, хрипло завыл и вдруг поднял изувеченного мертвого малыша к небу – не то карая, не то укоряя, не то пытаясь понять. Лидочка поморщилась, голову вдруг заволокло сольной мутью, будто она смотрела на мир сквозь захватанные жирными пальцами очки – чужие, с чужими диоптриями, прихваченные впопыхах с чужого стола. Ничего не получалось. Ничего.

А потом самец бережно положил детеныша на землю и все орангутанги по очереди обнюхали неподвижное изувеченное тельце, как будто попрощались, и гуськом ушли прочь, ссутуленные эволюцией, нелепые, мгновенно и счастливо все забывшие, потому что забыть для них – это и означало жить. Жалко, правда? – спросил Лужбин, часто смаргивая – как все осознанно жесткие люди, он охотно лил слезы по пустякам. Лидочка согласно кивнула. Плакать от жалости ее отучили еще в училище, в девять лет. Персик хочешь? – Лужбин

смущенно потянулся к тарелке с фруктами, вот черт, разнюнился, как баба. Нет, сказала Лидочка. Извини. У меня на персики аллергия.)

Дети устроены крепко, очень крепко. Сколько ни пыталась повзрослевшая Лидочка вспомнить лето восемьдесят пятого года не до, а после 24 июля – не получалось ничего, кроме болезненных и ярких вспышек. Покрывало на кровати в номере – бело-голубое, в цветах. Папа, целые сутки пролежавший на соседней кровати – лицом к стене, на затылке – сквозь рыжеватый пух – розовая, беззащитная кожа. В самолете – Лидочка первый раз в жизни летела в самолете! – затянутая в синее и очень красивая тетенька разносила на подносе леденцы «Взлетные» – махонькие, вдвое меньше обычных, удивительные. Лидочка взяла один и, как учила мамочка, тихо сказала спасибо. Возьми еще, девочка, – разрешила стюардесса, и сквозь приветливый профессиональный оскал, сквозь толсто, как на бутерброд, намазанный тональный крем «Балет» проступили вполне человеческие участливые морщинки. Спасибо, снова прошептала Лидочка и взяла еще одну конфетку. В самолете было интересно, но душно и пахло хвойным освежителем воздуха и призраком чьей-то очень давней рвоты. Все шесть часов, что они летели до Энска, папа проплакал. Без остановки. Целые шесть часов.

Кто тогда взвалил на себя все невозможные хлопоты, кто собирал документы, добывал гроб, кто помог перевезти его через всю страну – кто? Лидочка так и не узнала. На похороны ее не взяли, и она – под присмотром молчаливой, оснащенной вязальными спицами соседки – осталась дома и степенно играла со своими куклами. Куклы варили суп и ходили в гости, а гэдээровская Леля с золотыми скрипучими волосами даже вышла замуж за зайца. Она была ростом чуть поменьше самой Лидочки, эта Леля, так что мамочка даже перешла ей одно из Лидочкиных платьев – белое, праздничное, с ужасным ожогом на груди от неосторожного утюга. Мамочка спрятала ожог под большим бантом и теперь бело-шелковая Леля была просто обречена на вечные матримониальные устремления. Кем ты работаешь, Леля? Я? Невестой!

Когда зазвенел дверной звонок, Лидочка как раз соображала, кого назначить Леле и зайцу в ребеночки – лупоглазого щенка или пластмассового Гурвинека, у которого двигались ручки. Соседка в четыре приема (снять очки, положить очки, уронить клубок, потереть поясницу) попыталась извлечь себя из кресла, но Лидочка уже неслась в прихожую, подпрыгивая от счастья – мамочка, это мамочка пришла, я знаю! Соседка наконец-то вырвалась из мебельного плена и

украдкой перекрестилась. За дверью стояла женщина – Лидочке совершенно незнакомая – в платье невероятного, тревожного, ночного цвета. Она была очень красивая – очень, куда там стюардессе. Почти такая же красивая, как мамочка. Только губы чересчур красные. Женщина не глядя отодвинула Лидочку в сторону, словно небольшой и не слишком ценный предмет, и вошла в дом.

– А где мама? – спросила Лидочка и заранее растянула рот, чтобы половчее зареветь.

– Умерла, – очень спокойно ответила женщина, и соседка еще раз перекрестилась.

– А папа? – что такое «умерла» Лидочка не знала, но рев на всякий случай отменила.

Губы у женщины чуть-чуть дрогнули, как будто она собиралась поцеловать воздух, а потом передумала.

– Твой папа скоро вернется, – сказала она и наконец-то посмотрела на Лидочку.

Глаза у женщины оказались серо-голубые, прозрачные, гладкие и с каким-то сложным сизоватым переливом на самом дне. А у мамочки глаза были рыжие. Рыжие и веселые – как у рыжей веселой собаки. И потом – дальше, всю жизнь – больше всего на свете Лидочка боялась это забыть.

– А вы сами, позвольте, кто такая? – наконец-то очнулась от морока соседка, которая до этого недоверчиво разглядывала двойную жемчужную нитку на шее неведомой гостьи – бусины были крупные, одна к одной, и держались вместе с замечательной скромностью очень дорогой и очень простой вещи.

Искусственные, поди, успокоила себя соседка, профессиональный товаровед и вдохновенная завистница на заслуженной пенсии. Напрасная надежда – жемчуг был настоящий, серо-розовый, морской, терпеливо выращенный в нежных, живых устричных потемках. У Галины Петровны Линдт вообще все было только настоящее, только самое лучшее и дорогое. За исключением ее собственной жизни, но об этом, слава богу, никто не знал.

– Кто я такая? – Галина Петровна сострадательно приподняла брови, как будто соседка была сумасшедшей и не узнала царствующую особу, портрет которой висел в каждом доме в красном углу – волнистый от фимиама народной любви и бесконечно закипающего самовара. – Кто я такая? Вы серьезно?

Соседка мигом стушевалась, отступила назад, в свою жалкую жизнь, в тесную однушку, где по побеленным стенам трафаретом были намалеваны угловатые деревенские узоры.

– Пойдем, – сказала Галина Петровна и подтолкнула Лидочку к двери, которую никто так и не догадался закрыть. И Лидочка послушно переступила порог собственной жизни.

Не сразу, но Лидочка разобралась, что ее унаследовала бабушка.

Бабушку звали – Галина Петровна, вы. Лидочка попробовала было вариант «бабушка Галя», но ей было отказано: во-первых, потому что звучит чересчур по-деревенски, во-вторых, можно подумать, что у тебя сто бабушек и ты не знаешь, к какой обратиться. Это правда – ста бабушек у Лидочки не было, да и дедушек тоже. Вернее, дедушка и бабушка были – жили в папиаминой спальне, и мамочка иногда снимала их со стены и ласково водила пальцем по черно-белому мужчине в кителе и по кудрявой женщине, положившей на мужнин капитанский погон легкую, полную, даже на вид веселую руку. У женщины были длинные бусы и ямочки на щеках, а у мужчины – усы насупленной щеточкой. А вот это, Барбариска, – говорила мамочка, – мои мама и папа, а твои – дедушка и бабушка. А где они? – спрашивала Лидочка, заранее, как в сказке, зная ответ и заранее радуясь этому, как радуется раз и навсегда положенному ходу вещей любой ребенок. Далеко-далеко отсюда, в одном чудесном и сказочном краю, – говорила мамочка грустно, – имея в виду не то рай, не то Дальневосточный военный округ, и заснеженный мост, с которого и нырнул задремавший за рулем грузовика несмышленный ушастый солдатик, прихватив в свои последние причудливые сновидения и продрогший в кузове взвод, и капитана, проголосовавшего на выезде из города Бикина, и сидевшую в кабине капитанову жену, которая даже мертвая прижимала к груди купленную в военторге настольную лампу под жарким солнечным абажуром.

А почему бабушка с дедушкой не едут к нам в гости? Лидочка нетерпеливо тянула мамочку за руку, как будто чувствовала, что нельзя слишком долго думать про ломающийся под колесами лед, про летящую навстречу черную,

беззвучную от холода воду. Почему, скажи, почему? Потому что это очень далеко, Барбариска. А мы к ним поедим? Непременно, – серьезно обещала мамочка. – Сперва мы с папой, а потом и ты. Только это будет очень и очень нескоро. Через тысячу миллионов лет? У Лидочки даже дух захватывало от такой величественной цифры. И даже еще дольше! – обещала мамочка и вставала с пуфика, похожего на плюшевую клубничину на толстых ножках. А давай-ка пойдём и пышек с тобой напечем, вот что! Лидочка ликующе верещала, предчувствуя возню с мукой и свежееоткрытую банку варенья, и бабушка с дедушкой возвращались на стену. Честно говоря, на дедушку с бабушкой они были похожи мало.

Но Галина Петровна – Галина Петровна вообще не была похожа ни на кого!

Во-первых, она совершенно одна жила в огромной квартире, похожей на картинку замка в большой похрустывающей книжке сказок Шарля Перро.

Во-вторых, в квартире нельзя было бегать, прыгать и кричать. То есть – этого вообще больше было нельзя делать, но в квартире – особенно.

В-третьих, каждое утро приходила специальная женщина – Марьванна, которая переодевалась в фартук и прибиралась во всех комнатах с бездушной и молчаливой сноровистостью настоящего механизма. Мамочка, когда прибиралась, всегда сердилась или пела. Еще Марьванна готовила еду – каждый день другую, свежую, а остатки вчерашнего обеда или ужина переливала в специальные кастрюльки, которые назывались судки. Судки Марьванна уносила с собой. С Лидочкой она не разговаривала – как будто ее не было.

– А зачем Марьванне еда? – Лидочка не выдержала, все-таки спросила у Галины Петровны, хотя прекрасно знала и про любопытную Варвару, и про оторванный нос. Мамочка с папой не разрешали лезть с вопросами к чужим взрослым. Но если других, не чужих взрослых, больше не было, значит, спрашивать было, наверно, можно.

– Какая еда? – рассеянно удивилась Галина Петровна, оторвавшись от телевизора. – А-а-а... Эта. Не знаю, внукам, наверно, забирает.

Лидочка помолчала, соображая.

– А Марьяванна – наша общая бабушка?

Галина Петровна окончательно вынырнула из художественного фильма «Браслет-2». Лошадь какая-то дурацкая. Совсем разучились кино снимать.

– С чего ты взяла, что Марья Ивановна – наша бабушка? И не ковыряй кресло. Испортишь.

Лидочка послушно перестала поглаживать бархатистую обивку. Марьяванна приходила каждый день – готовила, убирала, застилала постели, стирала. Заботилась о Лидочке и Галине Петровне, как и положено бабушке. К тому же, как только что выяснилось, у нее были внуки, которым она носила то, что Лидочка с Галиной Петровной не доели. Следовательно, Галина Петровна и Лидочка тоже были внуки Марьяванны, причем – самые любимые. Лидочка не видела в логической цепочке своих рассуждений ни единой дырки. Все было верно. Разве нет?

Галина Петровна раздраженно пожала плечами.

– Какой ерундой забита твоя голова! Марья Ивановна – моя домработница. Иди лучше почитай или порисуй. Ты читать хоть умеешь?

Лидочка обиженно сползла с кресла. Читать она умела. И очень давно. Между прочим, даже про себя!

Странно было другое: прежде Лидочка и понятия не имела, о том, что Галина Петровна вообще существует. Это было непонятно. Потому что или у тебя есть бабушка – пусть даже настенная, или у тебя бабушки нет. Конечно, можно было потребовать разъяснений у папы, но папа – хотя Галина Петровна и пообещала, что он скоро придет, – почему-то не возвращался. Лидочка смутно помнила, что в первую ночь, которую она провела у Галины Петровны (ей постелили на кожаном диване, живом и совершенно слоновьем на ощупь), папа был. Он, покачиваясь, стоял возле дивана на коленях и тоненько, как щенок, скулил, и Лидочка даже сквозь густые слои сна чувствовала его родной, теплый запах – чудесную смесь табака и одеколона, про который мамочка говорила, что он пахнет лавровым листом из супа, и даже звала иногда так папу – Лаврушка.

«Лаврушка», – пробормотала Лидочка, ворочаясь – подушка была непривычная. Слишком мягкая. Мамочка говорила, что спать на мягком – вредно. Папа испуганно замолчал. «Спи, доченька, спи, моя зайка, – зашептал он, невидимыми слепыми руками пытаюсь нашарить Лидочку среди диванных отрогов. – Видишь, косички тебе никто на ночь не расплел, бабушка не догадалась, ты уж не сердись на нее, она научится, вот увидишь...»

Лидочка попыталась разлепить тяжелые ресницы – ничего не получилось. А где мама? – спросила она недовольным, лохматым со сна голосом, – маму позови... Папа помолчал, словно собираясь с силами, а потом вдруг уткнулся в Лидочку огромным, огненным лицом, так что она даже сквозь тонкую ткань пижамки почувствовала, как стучат и прыгают у него зубы.

– Прекрати истерику, Борис, – приказала из ниоткуда возникшая в дверном проеме Галина Петровна. Призрачно-белая ночная сорочка, затканый жесткими шелковыми драконами халат. – Ведешь себя, как баба.

Папа поднял голову, пижама на боку у Лидочки была насквозь мокрая от его слез.

– Ты всегда ее ненавидела, – сказал папа тихо. – Всегда.

Галина Петровна пожала плечами и исчезла, а потом исчез и папа, истаял в медленном ночном воздухе, когда Лидочка перевернулась на другой бок, не в силах больше противиться ласковому напору со всех сторон наплывающего сна...

Наутро папы нигде не было, и Лидочка долго слонялась по незнакомой квартире, шлепая босыми пятками, пока не набрела на Галину Петровну, которая стояла у окна в горячем табачном ниббе – мамочка никогда не курила. Папа курил, а мамочка нет.

– А где папа? – спросила Лидочка угрюмо.

Галина Петровна обернулась – сигарета у нее в пальцах была удивительная. Длинная.

– Уехал, – сказала она.

– А мама?

– А мама умерла.

Лидочка помолчала, примеряя на себя эту невозможную судьбу.

– Я хочу домой, – сказала она.

– Теперь твой дом тут.

Это была неправда – и обе они, и Лидочка, и Галина Петровна, прекрасно это понимали. Но выбора не было. И Лидочка с Галиной Петровной начали жить вместе.

Первым делом Галина Петровна повезла Лидочку к врачу. В длинной белой машине с плавным названием «Волга». Причем Галина Петровна сама села за руль: и это было удивительно, потому что в прежней Лидочкиной жизни машины водили только ласковые дядьки с огромными заскорузлыми руками – таксисты. Мамочка еще всегда делала на их ногти круглые, возмущенные брови: демонстрировала Лидочке, что бывает, если не мыть руки перед едой. Ногти были черные, в трещинах и некультурных слоях. А автобусы вообще ездили сами по себе. Зато в автобусах можно было тайком сунуть нос в душную мутоновую полу чьей-нибудь шубы или потрогать за скрипнувший яркий подол чужую нарядную юбку. Автобусы Лидочка любила.

Галина Петровна усадила Лидочку, свежую и наряженную, как кукла, на переднее сиденье и туго перехватила ремнем безопасности – словно перетянула лентой праздничный букет. Не вертись, – строго велела она, и улица радостно, как щенок, бросилась им навстречу – легкая, гладкая, вся в длинных тенях и слепящих солнечно-зеленых квадратах. От быстрого, почти клавишного перебора, с которым столбы сменяли стволы, а стволы – зеркально залитые окна, Лидочку почти сразу замутило. К тому же в «Волге» сильно и сладко воняло бензином и духами Галины Петровны – невыносимыми, густыми, будто взорвавшееся на жаре, нагло прущее из банки смородиновое варенье. Это был

диоровский «Пуазон», аромат, которому только предстояло стать легендарным, а пока – новинка, невероятная даже для Парижа, выпуск 1985 года, этого года, того самого, в котором – прямо сейчас – текла по энским улицам «Волга», и Лидочка, притянутая к сиденью, болтала лапами, пытаюсь нащупать сандалией громыхающий пол. Тщетно. Столб, ствол, окно, поворот. Ствол, окно, поворот, столб.

Галина Петровна заплатила за «Пуазон» триста рублей – триста! – больше, гораздо больше чем ежемесячная зарплата многих граждан огромной советской страны. Но чем больше тратишь, тем больше становится денег – это же очень простое и очень понятное правило. И потом, кто определит, сколько стоит унция счастья, в каких денежных единицах измерить звук, с которым лопнул стеклянистый целлофан, лопнул и сполз с зеленой, как будто даже малахитовой коробочки? Лилово-синий, округлый и гладкий, как молодая женская грудь, флакон. Прозрачная призма плотно притертой пробки. Галина Петровна провела прохладным, влажным горлышком флакона по собственному горячему пульсирующему горлу. Мед апельсинового дерева, малина, амбра, опопонакс и кориандр. Чтобы получить смолу опопонакса, растению *Ferula Ooropax* наносят смертельную рану. Слезы и кровь этой травы пахнут пряным, чистейшим ядом. Не думаю, чтобы в Совдепии еще у кого-нибудь были такие духи, – промурчала верная Норочка, тайная поставщица энской элиты, маленькая крыса больших фарцово-дипломатических путей. Триста полученных от Галины Петровны рублей она сунула в розовую полуоткрытую пасть своей щегольской сумочки – будто в лифчик, быстрым и сноровистым движением мелкой воровки, которое не вязалось ни с Норочкиным сложносочиненным, до вытачки и кокетки импортным нарядом, ни с ее протяжной небрежной повадкой ко всему привыкшей богатой дамы.

Машина подпрыгнула на предательски раззявленном канализационном люке, и Лидочка еле проглотила громадный шерстяной комок надвигающейся рвоты. Пахнет, – пожаловалась она прямо перед собой. Без особой надежды пожаловалась – просто так. Галина Петровна перегнулась, протянула крупную руку (пуазоново-бензиновая вонь стала осязаемой – как будто Лидочку с головой макнули в чернильно-черные сладкие сопли), и быстрый уличный воздух ловко, как кот, просунул сквозь оконное стекло тугую прохладную лапу и небожно ударил Лидочку по губам и по круглому вспотевшему лбу. Дышать сразу стало немного легче. Зато опасная и монотонная считалка – столб, ствол, окно, поворот – сразу наполнилась грозным, рокочущим ревом. Все шумы проносящегося мимо города, торопливо отталкивая друг друга, попытались разом протиснуться в оконную щель, но, разумеется, застряли и от того завывали

на совсем уже яростной, невыносимой ноте.

Чтобы хоть немного отвлечься, Лидочка скосила глаза на Галину Петровну, но и та, как на беду, была вся в непрерывном, почти механическом движении. Под юбкой цвета нежной свежей ряженки быстро ходили сильные колени – как будто Галина Петровна месила невидимыми ступнями что-то упрямое, сопротивляющееся и злое. Правая рука (с крупным, спелым рубиновым кабшоном на пальце) то и дело ложилась на рукоять, торчавшую прямо из пола, – рукоять с хищным хрустом дергалась, будто ломалась какая-то невидимая, но важная кость, машина в ответ жалобно рыкала, и рука Галины Петровны возвращалась на руль, завершая его плавное поворотное движение. Это было похоже на странный механический танец, невыносимый и для зрителей, и для плясуна, и особенно мучительно было движение головой, которое Галина Петровна делала, по очереди заглядывая в три зеркала – вверху, слева, справа, – и всякий раз медно-карий скульптурный локон над ее лбом вздрагивал, на одну сотую доли секунды выпадая из общего заданного такта.

В какой-то момент этот сложный узорчатый ритм пришел в резонанс с безостановочным законным мельтешением, запах в машине усилился, стал почти торжественным, хоральным и оглушительно громким. Лидочка, уже понимая, что поздно, кончено, все-таки попыталась выпростать из-под ремня руки или хотя бы зажмуриться. Не вертись, говорю, – сердито приказала Галина Петровна, взвизгнув тормозами, и – опляп! – Лидочку вырвало.

Платье (голубое, новое, с атласным поясом и мелко плоенным воланом по подолу) почти не пострадало, а белые носочки с бомбошками рыдающая Лидочка под присмотром Галины Петровны застирала в туалете поликлиники. Боже, что за ребенок! Лучше прополаскивай. Теперь отожди как следует. Руки не так держишь. Не так! Галина Петровна выхватила у Лидочки из рук опоганенные носки и ловко – раз, раз! – выжала над раковиной. Кабшон на ее пальце поймал бегущую из крана витую струйку и освобожденно полыхнул на весь туалет влажным багровым огнем. По кафельным стенам вскачь пронеслись гладкие розовые блики – и пропали. Рот прополощи, – велела Галина Петровна, и Лидочка послушно покатила во рту прохладный, пахнущий хлоркой водяной шарик. Выпустила его на волю. Подобрала с подбородка нитку горькой, липкой слюны. Ее больше не тошнило, разве что самую малость крутило в животе. Да и то больше от стыда. Галина Петровна скатала постиранные носки в тугий влажный шарик и ловко бросила в сумочку. Пойдем, – велела она. И они пошли.

Докторша была похожа на пирожное безе – круглая, белая и словно склеенная из двух сахаристо похрустывающих легких половинок. Это что же это за кукла такая ко мне пришла, – затянула она сладким, тоже безейным голосом опытного педиатра, присаживаясь перед Лидочкой на корточки. Лидочка на всякий случай попятилась, ожидая чего-нибудь ужасного вроде шпателя или шприца – ясно было, что от человека с таким голосом нельзя ждать ничего хорошего. Но докторша ловко и небольно ощупала Лидочку гладкими пальцами – а теперь скажи а-а-а, вот умница, ручки подними, хорошо, давай-ка теперь тебя послушаем. Кружок стетоскопа – такой ледяной, что как будто даже горячий, хлопотливый топоток растревоженных, щекотных мурашек. Лидочка свела ставшие пупырчатыми лопатки и хихикнула. Не дыши, – серьезно велела докторша, – а вот теперь – дыши. Лидочка хихикнула еще раз, и Галина Петровна раздраженно погрозила ей пальцем.

– Совершенно здоровенькая девочка, – присудила наконец сахарная врачиха и помогла Лидочке надеть платье. – А красotka какая – просто копия вы, Галина Петровна. А вас что-то конкретное беспокоит? Может, Лида кушает плохо? Или спит? Вполне понятно – после такого-то стресса. Вы сами-то как себя чувствуете? – Докторша деликатно понизила голос, словно приглашая Галину Петровну на тур упоительного словесного вальса. Она, как и многие ведомственные врачи, большую часть дня дурела от невыносимого и хорошо оплаченного восторга перед высокопоставленными пациентами и спасала рассудок исключительно сплетнями.

Галина Петровна сердито дернула плечом. Сплетничать она была не намерена – тем более о себе самой.

– Я в абсолютном порядке, – отрезала она, – успокойтесь. А ребенка проверьте как следует. Может, у нее глисты?

– Ну что вы, какие глисты, Галина Петровна! – Докторша даже как будто немножко обиделась за Лидочку, которая сидела тут же, на стуле, болтая сандалетками. На волане голубого платья – предательское пятно от застиранной рвоты, левую пятку чуть-чуть саднит. – Девочка, слава богу, совершенно здорова. Конечно, если вы хотите, можно сдать анализы, но...

Словно вызванная к жизни словом «анализы», из-за ширмы вышла медсестра, немолодая, с деревянным лицом.

– Ольга Валерьевна, выпишите направление. Кал на яйцеглист. Лидия Борисовна Линдт. Ведь папу твоего, Лидочка, Борей зовут, правда? Лидочка не успела даже кивнуть – Галина Петровна встала, взяла ее за руку и, не прощаясь, вышла из кабинета.

– Вот ведь дрянь, – с неожиданной злостью сказала в закрытую дверь медсестра. – Глисты. Как будто котенка с помойки в дом притащила.

Заблеванная «Волга», которую Галина Петровна оставила у будки охраны, ждала их – раскалившаяся на солнце, но тщательно вычищенная внутри. Это расстарался охранник, веселый толстый дядька, приставленный оберегать ведомственную поликлинику от рядовых сограждан с их никому не интересными язвами и гайморитами. Ишь ты, укачало тебя как, козявка, – посочувствовал дядька Лидочке и сунул ей в вялую ладошку барбарисовую карамельку, которая от длительного пребывания в форменных карманах практически утратила первоначальный кондитерский облик. Лидочка, обалдевшая, подавленная новой встречей с «Волгой» и загадочным словом «глисты», послушно пробормотала спасибо – извлеченное из навеки набитых мамочкой педагогических закров.

– Лазарё?сича внучечка? – бодро поинтересовался охранник, пытаясь погладить Лидочку по горячей макушке, но Галина Петровна ловко выдернула Лидочку из-под ласкающей руки и взамен сунула дядьке заработанный трояк – чтоб заткнул рот и не фамильярничал.

Хлопнула одна дверца, другая, и Лидочка снова оказалась в невыносимом автомобильном нутре, среди знакомой уже вони, остро смешавшейся с запахом горячей пластмассы, хлорки и свежей рвоты.

– А кто это – Лазарё?сич? – спросила она, стараясь дышать ртом и не шевелиться, чтобы не растревожить вновь завозившийся внутри живой рвотный комок.

Галина Петровна чуть-чуть приподняла брови и взглянула на Лидочку с неожиданным уважением – как на очень взрослого и очень смелого человека.

– Лазарь Иосифович Линдт, академик, – медленно, непонятно и чуть нараспев сказала она, и это было не объяснение пятилетнему ребенку, конечно, да и

вообще – не объяснение, а так – не то заговор, убивающий память, не то молитва, заклинающая демонов. Лидочка непонимающе приоткрыла рот. – Твой дедушка.

Глава вторая

Маруся

Он появился в Москве ниоткуда, словно был воплощен Богом сразу на пороге второго МГУ, – хрустящим от мороза ноябрьским утром 1918 года. Услужливое воображение наверняка уже разложило перед вами веер смуглых от времени мрачных дагерротипов: холод, голод, разруха, оголтелое людоедство, ужас, братоубийство, тиф.

Однако на деле в Москве все обстояло не так уж плохо. С марта восемнадцатого года она вновь была объявлена столицей – правда, не очень ясно, какого именно государства, но зато торопливый переезд правительства из Петрограда гарантировал отсутствие на улицах пирующего на трупах воронья. В театр имени Комиссаржевской на аристофановскую «Лисистрату» валила отнюдь не опухшая с голоду публика, футбольная команда «Замоскворецкого клуба спорта» выиграла первенство города, а на теннисных кортах «Петровки» царил Всеволод Вербицкий, актер МХАТа, душка, красавчик, взявший в том же восемнадцатом году первое место на первом теннисном чемпионате революционной Москвы. В моду – с легкой руки Свердлова – входили приятно поскрипывающие кожанки для обоих полов, добыть с рук можно было все что угодно, и скуластые брюнетки все так же играли глазами и коленками, как в прежние, мирные и, пожалуй, даже скучноватые времена. Перебои с продуктами, близость немцев и толпы более или менее пьяной солдатни не казались несомненными предвестниками Апокалипсиса. Скорее уж – это были неизбежные издержки великого перелома: что-то, связанное столь же досадно и тесно, как прелестный дачный вечер и комары, влюбленность и женитьба, Масленица и жирная, уютно свернувшаяся за грудиной изжога.

Впрочем, обломков судеб и нехитрого человеческого мусора в Москве тоже образовалось преизрядно: свежесвершившейся революцией сорвало с места не то что целые сословия – народы. Особенно много было евреев – вот уж кому

советская власть поначалу и сгоряча дала решительно все. Ошалевшие, нелепые, неприкаянные без привычной черты оседлости, они потянулись в столицу – не то мыкать своего невозможного иудейского счастья, не то удостовериться лично, что – кончено, отмучились. Теперь уж наверняка. Самые пронырливые и сметливые уже привычно прилаживались, приспособливались, притирались – кто к торговлишке, кто к стремительно обесценивающимся деньжатам, кто к невиданным прежде должностям, потихоньку, помаленьку, как говаривал зоологический антисемит и по совместительству великий русский писатель – тихими стопами-с.

Впрочем, некоторым приспособливаться не было ни малейшего прока, поскольку лучшие сыны еврейского народа сами были участниками и вдохновителями русского бунта – и, надо сказать, бессмысленными участниками и беспощадными вдохновителями. Кстати, именно они стали и самыми первыми жертвами выпущенных на волю демонов, когда – спустя несколько ярких прерывистых лет – гигантская имперская свинья с хрюком поднялась из вековой лужи и принялась равнодушно пожирать собственных поросят, не разбирая особо, какие из них кошерные, а какие – не очень. Но в первые советские годы – ах, каким они были святым и неистовым воинством, эти юные комиссары, эти древние сыны Авраамовы! Неподкупные, фанатичные, безжалостные, прекрасные в своем идиотическом героизме, именно они придали русской революции тот отчетливый иудейский привкус, от которого и десятилетия спустя сами евреи яростно плевались – кто ядом, а кто и самой настоящей кровью. Это, как говорил академик Линдт, смотря с какой стороны рассудить.

Впрочем, сам Линдт не принадлежал ни к торговому, ни к комиссарскому сословию, да и вообще, признаться, находил в своем еврействе очень мало толку и проку. Иудеев он считал пугливым и мирным народцем с крайне неудачной исторической судьбой. Ну, подумайте сами – веками мелко торговать и мелко же унижаться, жить на узлах, ночами вздрагивать и жаться, зная, что, как ни старайся, при первой же заварушке все равно выпрут со всеми манатками за порог. Да еще и по шее наkostenяют. Просто так – чтоб под ногами не путались и чесноком своим не воняли.

– Знаешь, Лазарь, еврей-антисемит – это еще гаже, чем монахиня-шлюха! – морщился Чалдонов, один из отцов-основателей современной гидро- и аэродинамики, академик, сияющий столп советской науки и такой коренной русак, что никакого паспорта не нужно. Только глянь на непропеченный нос, бесцветные брови и общий склад простодушной бревенчатой физиономии, и

сразу – как в быстрой прокрутке – увидишь всю немудреную историю российских хлебопашцев, с ее гиканьем и свистом, каторжной работой и таким же каторжным, словно подневольным, весельем.

– Да бросьте, Сергей Александрович, какой же я антисемит! – скалился Линдт, выставляя крупные ловкие зубы. – Я просто выступаю за справедливость. Как можно называть великим и богоизбранным народ, который бездарно проебал все на свете, включая собственный Храм, и потом тысячи лет питался исключительно слезливыми воспоминаниями? Они даже толкового культурного наследия не сумели создать!

– Лазарь, Бог с тобой, а Библия? – пугался Чалдонов, он был аж 1869 года рождения, но просветительский дар и крепкие кулаки дьячка, вбивавшего в тупоумную деревенскую паству богословие и боголюбие, не утратили для него педагогической убедительности даже к 1934 году. – А Библия-то как же?

– Какая Библия, Сергей Александрович, я вас умоляю! – Линдт смеялся уже в открытую. – Да ее кто только не писал, вы еще скажите – Упанишады или Тора! Я вам про культурное наследие говорю, а не про религиозные бредни. Где у ваших иудеев великая литература? Где живопись? Архитектура где?

Чалдонов мысленно крестился и мысленно же бормотал про хлеб наш насущный даждь нам днесь – родные, успокаивающие слова, почти не имевшие смысла, но словно елеем питавшие самые заскорузлые душевные горести и раны. И в унисон ему неслышно и невидимо молились – хоть и на другом языке, но все тому же Богу – поколения линдтовых предков, тихих скитальцев, отчаявшихся вечных жидов, действительно не создавших ни сложносочиненных дворцов, ни масштабных полотен, ни пышножопых скульптур – ничего, что жаль было бросить, отправляясь в очередное изгнание. Но именно это – непрестанное и горькое – молитвенное устремление так пропитало собой всю мировую культуру в целом, что из каждого угла торчали то тоскующие еврейские очи, то не менее тоскующие еврейские носы. Они – то есть, тьфу ты господи, вы, ну, конечно, вы – и есть всему разумному и цивилизованному божественная первопричина и духовный первоисточник. Съел, Лазарь?

Линдт пожимал плечами – гадостей, а уж тем более религиозных, он сроду не ел.

Чалдонову иногда казалось, что Создатель просто поторопился запихать гениальную линдтову сущность в первое попавшееся земное тело – словно Ему самому не под силу было удерживать эту самую сущность в руках. Ну, как будто печеную картошку, раскаленную, обугленную, с лопнувшим сахаристым бочком, которую сперва честно перебрасываешь из ладони в ладонь, пытаешься остудить, а потом все равно роняешь в невидимую ночную траву, пропади ты пропадом, такая горячая – сил нет, ну хоть не в коровью лепеху угодила – и на том спасибо.

Подвернувшееся тело оказалось унижительно маленьким, щуплым и жилистым, так что продрогший ушастый солдатик, охранявший вход во второй МГУ в ноябре 1918 года, сперва принял Линдта за беспризорника – благо лохмотья на том были самые выдающиеся, как из Малого Императорского театра. Побираться будет, смекнул красноармеец и почти ласково приказал:

– Вали отсюда, жиденок, тут и спиздить-то нечего. Одни ученственные господа. У них у самих жрать нечего.

– Я к Чалдонову Сергею Александровичу, – вежливо, как взрослый, объяснил жиденок.

И твердо потребовал:

– Доложите, пожалуйста.

К Чалдонову Линдта проводил секретарь физико-математического факультета (с естественным, математическим и химико-фармацевтическим отделениями). На самом деле факультета и секретаря как бы не существовало, потому что весь факультет целиком – со всеми отделениями – еще находился в будущем, а секретарь, напротив, чтобы не свихнуться, хронически пребывал в своем уютном прошлом университетского приват-доцента – с верным жалованием и приличными званию духовно-нравственными исканиями. Однако Линдт, не знавший этих обстоятельств, не ощутил в ситуации ровным счетом ничего безумного или гофманианского. Впрочем, он вообще был чужд пустым размышлениям о тщете всего сущего и истерически-эзотерическим закидонам. В этом смысле он был не русский и, уж конечно, не интеллигент. Просто крепко стоящий на земле гений – причем гений в самом биологическом смысле этого слова. Классическая патология головного мозга. Честно. Наверно, какая-то

редкая мутация. Я не виноват, что так получилось.

Услышав за дверью скребущиеся и совершенно дворняжьи звуки, которыми секретарь кафедры обычно предварял свое унылое появление, Сергей Александрович Чалдонов недовольно закряхтел.

Сергею Александровичу Чалдонову было некогда.

Вообще-то ему было некогда уже почти тринадцать лет – примерно с 1905 года, когда он – блестящий, между прочим, математик – на свою голову согласился стать директором Высших женских курсов. И понеслось: дрова, попечители, расширение, доклады, охваченные гормональными бурями курсистки – замуж, дуры, замуж срочно! Но теперь тогдашняя суета казалась Чалдонову приятной послеобеденной дремой. Потому что директор Высших женских курсов при батюшке-царе – это одно, а вот ты попробуй, мил человек, за месяц превратить эти самые Женские курсы во второй МГУ – да при новом революционном правительстве, которое по неопытности само не знает, чего хочет, но требует при этом – будь здоров. При помощи нагана.

Деликатно поцарапав лапкой дверь, секретарь засунул в кабинет плешивую голову. Чалдонов с тоской отложил в сторону протокол № 77/113 заседания коллегии народного комиссариата по просвещению. Протокол предписывал «преобразовать Высшие женские курсы во II Московский государственный университет, сделав его смешанным учебным заведением, но не считая его вновь создаваемым высшим учебным заведением».

В этой бумаге отвратительным было решительно все – желтоватый цвет, шероховатость, невыносимый для потомственного крестьянина казенно-плебейский тон («ассигновать на содержание курсов в виде аванса 1/12 представленной ими сметы»). Но ужаснее всего был список присутствующих на коллегии и абсолютно неведомых Чалдонову людей. Д. Н. Артемьев, В. И. Калинин, М. Н. Покровский, В. М. Познер и Д. Б. Калинин были еще хоть как-то выносимы. Но фамилия Ленгник, которая разом отдавала и зубной болью, и свифтовскими непроизносимыми гуингнами, причиняла Сергею Александровичу прямо-таки физическое мучение. По счастью, заботливый ангел-хранитель избавил хронически не высыпающегося Чалдонова от совсем уже несносных подробностей – имени Ленгника (Фридрих Вильгельмович) и его партийных кличек (Курц и Кол). Иначе валяться бы будущему академику и лауреату на паркете нетопленного директорского кабинета – с собственноручно

простреленной башкой. Да что вы там мнетесь. Павел Николаевич? Заходите. Что там? Очередное предписание сверху?

– Нет, Сергей Александрович. Не предписание. Тут к вам пришли, – сообщил секретарь, по-прежнему пребывая между коридором (тыльная часть) и чалдоновским кабинетом (голова). В каком-то смысле это тоже была привычная ему позиция между прошлым и будущим.

– И кто же это, черт возьми? – не сдержался Чалдонов, который зависшего между двух миров секретаря по-человечески, конечно, очень жалел, но на работе, милстсдарь, все же надобно работать. Да-с! Работать! Несмотря ни на что!

Секретарь замешкался, не решаясь хоть как-нибудь классифицировать оборванного подростка, который, несмотря на очевидную вонючесть и немытость, держался с замечательным веселым спокойствием урожденно богатого и свободного человека.

– Передайте Сергею Александровичу, что у меня есть вопросы по динамике неголономных систем, – негромко подсказал Линдт. Опорки на нем красовались такие, что о самих ногах лучше было и не думать.

– Э-э-э-э, – отозвался секретарь, чем окончательно решил судьбу советской науки, потому что соскучившийся Линдт ловко отодвинул приват-доцентскую задницу, преграждавшую ему дорогу в светлое будущее, и без доклада вошел в огромный чалдоновский кабинет.

Больше всего это было похоже на заговор. Или на детскую игру, правила которой меняются и придумываются на ходу, так что в памяти только и остается, что ощущение прихотливого счастья, которое бывает доступно только в раннем и еще не осознающем себя детстве.

Они с Чалдоновым сидели за столом для заседаний и ловко, словно картежники, бросали друг другу засаленную практически до съедобности тетрадку, которую Линдт извлек откуда-то из-под груды своих лохмотьев. Чалдонов быстро писал на свободных листах какие-то невозможные для обычного человека буквы, цифры и слова, а принявший пас Линдт писал поверх этих букв и цифр другие – свои собственные, и оба игрока даже крякали иногда от почти телесного

удовольствия, будто действительно резались в волейбол, хекая, напрягая звонкие, здоровые, идеальные мышцы и посылая друг другу такой же звонкий, здоровый, идеальный мяч.

А потом Линдт наконец завис на несколько минут над какой-то неслыханной формулой, больше похожей на сложное насекомое, ошестинившееся десятком хищных педипальп и хелицер. Чалдонов протарабанил по столу короткую нетерпеливую дробь.

- Ну-с?

- Я не знаю, - признался Линдт и прикрыл формулу рукой, словно боялся, будто она проскользнет сквозь его опухшие от холода пальцы и с тихим сухим шелестом скроется в потустороннем воздухе смеркающегося мира.

- То-то же, коллега! - с удовольствием резюмировал Чалдонов, и они с Линдтом вдруг засмеялись от радости, как будто это был не похрустывающий от ледяной грязи ноябрь восемнадцатого года, а июнь мирного и солнечного 1903-го, и перед ними лежала не тетрадка, а распеленутый, розовозады, довольный, сучащий толстыми ножками младенец, которого они только что - вдвоем - спасли от неминуемого несчастья. Может быть, даже от смерти.

- Вы возьмете меня учиться, Сергей Александрович? - тихо спросил Линдт, и как-то сразу стало ясно, что разводы и полосы на его обглоданном, мальчишеском лице - не от грязи, не от голода и даже не от тысячекилометровой усталости, потому что, знаете, по большей части приходилось все-таки пешком... Это были сумерки судьбы, тень большого, очень большого и страшно далекого дара, под сенью которого Линдту пришлось прожить уже восемнадцать лет своей огромной и торжественной жизни и надлежало прожить еще как минимум шестьдесят три.

- Учиться? - переспросил Чалдонов грозно. - Хуюшки! Учиться ему подавай - вы только посмотрите на этого гуся! Работать вы у меня будете, работать - и еще как!

Чалдонов с трудом вылез из-за стола, распахнул дверь кабинета и истошно заорал куда-то вглубь, вдаль, в неопределенно-личное будущее:

– Павел Николаевич, Павел Николаевич, немедленно оформите нового сотрудника! Вас как зовут, коллега? – спохватившись, Чалдонов повернулся к невиданному подкидышу.

Лазарь. Лазарь Иосифович Линдт.

Чалдонов кивнул – не то запоминая, не то отдавая честь, и, не дождавшись из будущего ответа, сам отправился на поиски утраченного приват-доцента. Когда через час он возвратился, обвешанный карточками, справками и анкетами, Лазарь Иосифович Линдт крепко спал, уронив прямо на открытую тетрадь вшивую нечесаную голову, и по лицу его – наконец-то! – плыли не тени демонских крыльев, а торопливая рябь коротких и, кажется, совершенно детских сновидений.

Вечером Чалдонов привел Линдта к себе домой, на Остоженку, – в огромную профессорскую квартиру, сумеречную, поскрипывающую, аппетитно пропахшую книгами в хороших переплетах и степенными домашними обедами – на пять гостей и четыре перемены блюд. Перед дверью Чалдонов на мгновение внутренне замешкался, и Линдт тотчас же мягко тронул его за рукав.

– Вы уверены, что это удобно, Сергей Александрович? Мне вообще-то есть где переночевать.

– Ну вот еще, что за глупые церемонии, коллега, – буркнул взятый врасплох Чалдонов, дергая дверной звонок, что за черт, мысли он, что ли, читает, а что, при таких-то способностях, и если предположить электромагнитную природу излучения... Ну и всыплет же мне Маруся, господи-пронеси-и-помилуй. Всыплет, это уж как пить дать!

Входная дверь распахнулась (без уточняющих вопросов и лязганья засовов, вполне извинительных в городе, в котором недавно произошла великая октябрьская социалистическая революция), и на пороге появилась женщина, а вместе с ней – свет, такой яркий и плотный, что Лазарь Линдт на секунду зажмурился. Свет был слишком живым и сильным, чтобы его можно было списать на банальную керосиновую лампу, которую Мария Никитична Чалдонова (по-домашнему – Маруся) держала в руках, так что Линдт долго-долго потом, целые годы спустя, ассоциировал жену Чалдонова и всю их семью именно с этим

светом.

У Марии Никитичны было нежное, необыкновенно живое лицо того немного грубоватого и отчасти простонародного типа, который вышел из моды еще в десятые годы двадцатого века и теперь обитает исключительно на дореволюционных фотокарточках. В молодости она, несомненно, была хорошенькой – все в той же позабытой нынче манере, когда с женской красотой рифмовалась неяркая прелесть и девушке из хорошего семейства непременно полагалось много плакать по пустякам, иметь свежую кожу прохладного молочного разлива, а в месячные целые дни проводить в постели, пролеживая специально для этого предназначенные юбки. В жене Чалдонова все эти нежные требования и условности отступали на второй план, покоренные светом, который она излучала словно сама по себе, как будто даже против своей воли. Всю свою жизнь потом Линдт искал похожие отблески на лицах множества женщин, великого множества. Но так и не понял, что женщина сама по себе вообще не существует. Она тело и отраженный свет. Но вот ты вобрала мой свет и ушла. И весь мой свет ушел от меня. Цитата. Тысяча девятьсот тридцать восьмой год. Набоков подтвердил бы, что внимательный читатель и сам сумеет расставить кавычки.

– Вот, Маруся, смотри, кого я нашел, – сказал Чалдонов бодро и немного испуганно, будто он был мальчишкой, а Линдт – трясущимся, блохастым, но уже невероятно любимым щенком, и решить, останутся ли они дома – жить, или вдвоем отправятся назад на помойку, могла только мама, вряд ли вот так просто забывшая вчерашний «кол» по поведению. Мария Никитична вопросительно взглянула на мужа. – Это Лазарь Иосифович Линдт – мой новый коллега, – попытался отрекомендовать гостя Чалдонов. Затея с приводом найденыша домой с каждой секундой казалась ему все менее удачной. Маруся, как все хорошо воспитанные люди, обладала отлично взнузданным темпераментом и потому умела взрываться с замечательной быстротой. Чалдонов знал это прекрасно. Лучше просто и не бывает. Линдт попытался вежливо поклониться, и лестница, дверь и лампа тотчас мягко и быстро повернулись вокруг головокружительной оси. Есть хотелось просто невероятно. Маруся помолчала еще одну длинную секунду.

– Вшивый? – деловито спросила она у Линдта, как будто приценивалась к нему на рынке. Линдт обреченно кивнул. Собственно, кроме тетрадки и вшей, у него больше ничего и не было. – Тогда потерпите, пока я не приведу вас в порядок. И только потом уже – ужинать, ладно?

Через час с небольшим все уже сидели в столовой за обеденным столом, сервированном по правилам, которые стремительно, прямо на глазах, становились старорежимными пережитками. Хрустели салфетки, тяжело звякало серебро, из просторного, как полынья, ворота чалдоновской рубахи торчал, пуская ликующие блики, наголо обритый Линдт (Чалдонов принес в жертву отменную бритву фабрично-промышленного торгового дома Арона Бибера, Варшава, дореволюционная роскошь, в самый раз для ваших непроходимых кущей, коллега), в кузнецовских чашках светился настоящий морковный чай с настоящим сахаринном, а Мария Никитична подкладывала гостю на тарелку третью картофелину (с топленным маслом!) и ласково уговаривала – ешьте, Лесик, а то на вас смотреть страшно – какая-то голова на ножках, да и только.

– Зато какая, Маруся, голова! – хвастался довольный Чалдонов, воздев нож и вилку к небу. – Этот юноша – гений, можешь мне поверить. А я такими словами не разбрасываюсь, ты же знаешь!

– Может, и гений, но вот только очень уж недокормленный, – смеялась Маруся.

Линдт смущенно и сыто жмурился, изо всех сил пытаясь не задремать. Гений – это он уже слышал, и не раз. Но никто еще не называл его Лесиком – ни до, ни после. Никогда.

От четвертой картофелины он мужественно отказался: я получу продовольственные карточки, Мария Никитична, и сразу верну. Чалдоновы разом замахали на него протестующими руками. Это был счастливый билет, конечно. Незаслуженный, неожиданный. Шел по улице, подобрал золотой ключик, выпустил на волю замурованную судьбу. Линдт и сам знал, что так не бывает. А ведь – поди ж ты. Глаза слипаются, все дрожит и расплывается в мокром сиянии простого человеческого счастья. Мария Никитична поднялась, чтобы собрать со стола посуду, и тотчас вскочил помогать ей Чалдонов, уставший дальше некуда, конечно, но – Маруся, Господь с тобой, сядь, я сам, все сам. И по тому, с каким жадным обожанием он смотрел на жену, по тому, как мимоходом она пригладила ему надо лбом некрасивую белесую кудрю, ясно было, что даже тридцать лет супружества могут быть зачем-то нужны Богу, особенно если веришь, что Он действительно существует. Линдт проглотил ниоткуда взявшийся горький комок. У меня тоже так будет, поклялся он мысленно. Именно так – и никак иначе. Вот такая точно любовь, такая точно Маруся, такая точно семья.

Мария Никитична Чалдонова была самой большой жизненной удачей Чалдонова, и то, что оба прекрасно знали об этом, придавало всему укладу семейной жизни тот необходимый привкус чудесной авантюры, без которой брак быстро превращается в скучнейшее и едва удобоваримое блюдо – вроде трижды разогретой жареной картошки. Маруся была и умнее, и сильнее, и нравственно выше Чалдонова, но главное – она была совсем иной, лучшей человеческой породы. И вся семья ее была чудесная – старинная, священническая, уходящая корнями в такие раннехристианские, первоапостольские времена, что сразу становилось ясно, почему в их доме так хорошо и взрослым, и детям, и кошкам, и канарейке в клетке, и всему приبلудному, нищему, юродивому, переходящему люду, без которого и вообразить себе невозможно ни русскую жизнь, ни служение русскому Богу.

Впрочем, с Богом у Марусиной семьи были свои, особенные отношения. И фамилия их, дивная, лакомая, семинарская, была совершенно Божьей – Питоврановы. Чалдонов и сейчас, в сорок девять лет, помнил, с каким серьезным видом юная Маруся объясняла ему, двадцатилетнему олуху, что Питоврановы – это в честь пророка Илии, которого питали враны. Понимаете? Чалдонов кивал белесыми кудлами, но понимал только ямочку на щеке у Маруси и серые горошинки на ее узком, ловком ситцевом платье, про которое невыносимо стыдно было даже думать, но не думать тоже не получалось никак.

– И Господь сказал, – важно продолжила Маруся, – иди и скройся у потока Хорафа, близ Иордана, ты будешь пить от вод потока, и Я повелю вранам питать тебя. Враны – это вороны. Неужели не помните?

– Очень даже помню, – согласился Чалдонов, остро, гораздо острее обычного чувствуя себя деревенским стоеросовым дураком. И то, что он через год вообще-то должен был закончить физико-математический факультет Московского университета по специальности «прикладная математика», почему-то только усиливало мучительную резь потной рубахи под мышками и всю общую, телесную неловкость, которую Чалдонов испытывал от одного присутствия этой девушки, едва достававшей макушкой до петлички на лацкане его пиджака.

– А помните, так продолжите! – потребовала Маруся, но Чалдонов в ответ только немо и умоляюще растопырил руки, понимая, что самый главный экзамен его жизни провален – постыдно, жалко, без права на пересдачу, навсегда.

– А папа сказал, что вы – выдающегося ума человек, – разочарованно протянула Маруся и без малейшего церковного подвыва, просто, как стихи, закончила цитату: – Илия исполнил повеленное и жил при потоке, и враны вечером и поутру приносили ему пищу, ибо Господь может и чудесным образом охранять тех, которые верно служат Ему и надеются на Него.

Чалдонов еще раз кивнул и покорно отправился вслед за Марусей в соседнюю комнату, где большое семейство Питоврановых уже рассаживалось за обеденным столом, громяхая стульями и весело переругиваясь – опять Алешка лезет поближе к пирогам, пап, да скажи ему, наконец, мамоне ненасытной! Питовранов-старший, профессор богословия Московской духовной академии, в ответ только насмешливо пушил холеную, вполне светскую, надушенную бороду. Чадо- и женолюбец, жуир, остролов и умница, он – вопреки всем представлениям о косности духовного образования – знал девять языков (пять из которых были, впрочем, безнадежно мертвы), защитил блестящую диссертацию по языческим культам (по поводу чего яростно спорил со своим вечным врагом-коллегой Введенским) и – несмотря на это – ухитрился остаться искренне и простодушно верующим человеком. Да и как было не верить, если ежедневно, ежечасно – в звоне столовых приборов, плаче младенцев, скрипе половиц, в каждой ноте многоголосого питоврановского дома – жил и дышал сам Бог, простецкий, уютный, единственно возможный, безнадежно антропоморфный Господь с крепкими крестьянскими пятками и кудрявой бородой, похожей на кудрявое облако, вполне заменявшее Ему и диван, и кресло, и основание мира.

Семейство было огромное, шумное и дружное, но даже случайному гостю было ясно, что дружба эта основана не на пустом и случайном кровном родстве, а на совершенно осознанной, умной человеческой приязни, так что каждому вновь народившемуся у Питоврановых ребенку, каждой приблудившейся кошке или приглашенному на обед гостю приходилось постараться, чтобы завоевать любовь и приязнь всех остальных – но зато, раз влившись в эту мирную и многоголосую симфонию огромного человеческого счастья, каждый получал столько дивного, телесного уюта и тепла, что с избытком хватало и на земную, и на загробную жизнь.

Чалдонова в дом привел Питовранов-старший. Жадный и переборчивый ловец и коллекционер человеческих душ, он живо раскусил в долговязом студенте вполне, признаемся, несуразного и плебейского вида – нет, не будущего академика, не светило фундаментальной науки, а человека той высокой и

редкостной нравственной пробы, которую так долго и яростно выискивал в людях граф Лев Толстой, сам, по воле Господа, начисто лишенный того тонкого безымянного органа, своеобразного вестибулярного аппарата души, который безошибочно позволяет даже маленькому ребенку или собаке отличить хорошее от плохого, добро – от зла, а грех – от праведного помысла или деяния. Впервые старший Питовранов воочию видел такое убедительное и оригинальное доказательство Тертуллиановской аксиомы о том, что всякая душа по природе своей христианка, – и это при том, что Чалдонов на своей религиозной стезе вряд ли продвинулся дальше Символа Веры да Отче наш. Однако умница Питовранов в отличие от многих богословов был вполне способен отличить церковь от Бога и потому после двух долгих бесед со смышленным студентом пригласил его на обед – Пятницкая, 46, собственный дом. Милости прошу, милейший Сергей Александрович, и никаких возражений не приемлю. Познакомьтесь с моими чадами и домочадцами, а заодно и домашнего поедите. У меня всегда вкусно – правило такое, соблюдается неукоснительно, а вы, поди, замучались по трактирам столоваться.

И Чалдонов, вообще-то мучительно стеснявшийся всего на свете, кроме своей математики, неожиданно не просто согласился – пришел, парадный, напомаженный, корявый от волнения, с глазированными вишнями от модного Эйнема – и коробка из-под этих вишен, обитая шелком, щегольская, в тот же вечер опустела и переехала в комнату к девочкам Питоврановым, где стала приютом для пуговиц, шелковых тесемок, стекляруса и прочих вещиц, разрозненных, ненужных, но бесконечно милых каждому девичьему сердцу.

Детей у Питоврановых было шестеро, но Чалдонов, кажется, так никогда и не запомнил их всех по именам, потому что сразу, едва войдя в тесноватую прихожую, увидел Марусю, которая держала за пушистую шкурку огромную дымную ангорку.

– Не снимайте калоши, – сердито приказала Маруся Чалдонову, – Сара Бернар, паршивка, опять принялась гадить!

Маруся встряхнула провинившуюся кошку, которая прижмурила наглые голубые глаза, посылно притворяясь раскаявшейся грешницей. Получалось, честно говоря, не слишком убедительно, и Маруся для острастки встряхнула обмякшей кошкой еще раз.

– Но, позвольте, – растеряно пробормотал Чалдонов, заливаясь краской и не зная, куда пристроить конфеты. – Как же я в дом – и в калошах. Разве же можно?

– Это верно, – согласилась Маруся, – мама наверняка расстроится. Разувайтесь. Уж лучше я Сару на улицу выставлю. Пусть проветрится. А вы Чалдонов, да? Сергей Александрович?

Она подала Чалдонову руку с зажатой в кулаке кошкой. Чалдонов в ответ неловко протянул коробку конфет.

– Так точно-с, – пробормотал он, проклиная себя за неизвестно откуда выскочившее вертлявое словоерик. Так точно-с! Как лакей, как приказчик! Боже, стыд-то какой! Погиб, решительно погиб!

– А я – Маруся, то есть – Мария Никитична, конечно. – Маруся легко, радостно улыбнулась – над верхней губой у нее сидела маленькая каряя родинка.

Кошка, воспользовавшись всеобщим замешательством, тяжело, как комок теста, шлепнулась на пол и тотчас предусмотрительно смылась.

– Ну вот, опять упустила! – огорчилась Маруся. – Теперь она наверняка еще и гардины изорвет. Да вы не стесняйтесь, пойдете – все заждались уж. Папа только о вас и говорит – мы все думаем, что он в вас решительно влюблен.

Это было любимое Марусино слово – решительно. Она еще раз подала Чалдонову маленькую горячую руку, теперь уже свободную, и он осторожно подержал ее в потном кулаке.

Было 28 ноября 1888 года, а 9 апреля 1889 года, на Пасху, Сергей Александрович, бледный до обморока, с трудом ворочая словами, уже сделал Марусе предложение. Оглушительно – на всю комнату – пахли влажные даже на вид, тугие, праздничные гиацинты.

– Вы согласны, Мария Никитична? – спросил Чалдонов, в случае отказа твердо решивший стреляться – или, в крайнем случае, бросить все, уйти в деревню, в скиты, в запой.

Маруся подошла вплотную, заглянула снизу в глаза, и ее запах, очень простой, домашний и немного яблочный, разом вытеснил гиацинты, заполнил собой весь мир.

– Ну, разумеется, согласна! – весело сказала она. – Тем более что я из-за вас проспорила папе целый рубль! Он сказал, что вы непременно посвтааетесь на Светлую седмицу. А я говорила, что раньше Святой Троицы ни за что не поспеете. Есть у вас рубль? – Чалдонов качнулся, вцепился белыми пальцами в край стола – удар счастья оказался такой силы, что перед глазами все поехало, поплыло, неспешно набирая ход и погромыхая на стыках. – А что же это вы бледный такой? Голодный? – Чалдонов помотал головой, как кляча. Говорить он все еще не мог. Все еще не мог поверить. – И что же вы – совсем-совсем не рады? – продолжала настаивать Маруся. – И даже поцеловать меня не хотите? Теперь-то, наверное, можно.

Она приподнялась на цыпочки, подставила гладкие губы – просто, как будто делала это уже тысячу раз. Чалдонов закрыл бесполезные глаза, и в комнату тотчас ворвался, взбороздив половики, Гриша, младший Марусин брат.

– Никак не нахристосуетесь? – поинтересовался он ехидно. – А там эта саранча, – он мотнул головой в сторону двери, за которой галдело, прорываясь в столовую, наголодавшееся Великим постом питоврановское семейство, – сейчас поросенка без вас сметет!

– А ну брысь отсюда! – засмеялась Маруся, взяла Чалдонова под руку, и они пошли к столу – ловко, в ногу, славно, как идти и идти бы всю жизнь, а впереди с ликующими воплями «А они целовались, я сам видел – целовались!» бежал обуреваемый ранними гормонами Гришка, и в столовой все уже рассаживались вокруг празднично и продуманно убранного стола, в сердцевине которого действительно лежал на блюде молочный поросенок, маленький и очень детский, испуганно прижмуривший напухшие, словно у новорожденного, веки – и Марусю на секунду кольнуло дурное предчувствие, но только на одну секунду. Потому что год был великий, благословенный для всей планеты – год открытия нерукотворного чуда Туринской плащаницы, о которой много и жарко спорили у Питоврановых, и, уж конечно, в такой год не могло случиться ничего дурного. Не могло и не случилось. Потому что в конце весны Чалдонов с отличием закончил Московский университет и по представлению своего учителя, великого Жуковского, был оставлен на кафедре – для подготовки к профессорскому званию.

А в начале лета они с Марусей поженились.

Сразу после венчания молодые уехали в свадебное путешествие по Волге – Марусина затея, оказавшаяся потом, как и все ее затеи, единственно возможным и счастливым вариантом – лучше и не придумаешь. Свадебная суматоха и переезд по железке до Нижнего Новгорода на несколько дней отложили то главное, чего Чалдонов так боялся и чего так наивно и неистово хотел. Всю тяжесть своего незаслуженного, невозможного счастья он ощутил только в поскрипывающей каюте парохода – в первый же вечер, когда они с Марусей наконец-то остались одни. Пахло нежной речной сыростью, по потолку плыли длинные, плавные, колыбельные тени, а потом в тот же плавный, колыбельный ритм пришел, наконец, весь окружающий мир: и качающийся ламповый свет, и ласковый, слабый переплеск Волги, и ответные Марусины движения, от которых у Чалдонова то обрывалось, то опять властно напрягалось влюбленное сердце...

Это был самый медовый месяц из всех возможных – длинный и неспешный, как их пароход «Цесаревич Николай», перестроенный обществом «Кавказ и Меркурий» специально для навигации 1890 года. Ставший двухпалубным и оснащенный новехонькой американской машиной Comround, «Цесаревич» не утратил своей провинциальной неторопливости. В ходу были медленные завтраки на палубе под полотняным тентом – с сероватой икрой, которую положено было намазывать на ноздреватую плоть горячего калача специальной костяной ложечкой, и с бесконечным чаепитием из маленького пузатого самоварчика, про который Маруся в первое же утро сказала, что он похож на архиерея – такой же важный и пытит. Мокрыми от непрошенных слез глазами Чалдонов смотрел на быструю солнечную воду за кормой, на визгливых чаек, которым почтенная публика бросала щедрые куски еще теплых саяк, на заметно припухшие Марусины губы и на нежный, еле ощутимый кровоподтек на ее чуть позолоченной солнцем молодой шее. Ты что-то сказала, милая? Прости, я не расслышал. Я сказала, что ты похож на альпийского сенбернара. Такой же косматый и сентиментальный. Вот уж не знала, что выхожу замуж за плаксу.

Маруся поднималась из-за стола, ловко оправляла свое первое по-настоящему взрослое и дамское платье (с неудобным турнюром, к которому она никак не могла привыкнуть) и, напоследок быстро показав Чалдонову язык, отправлялась гулять по палубе. А Чалдонов – сквозь радугу, по-прежнему расплывающуюся на ресницах, – смотрел, как она идет по добела отмытым доскам, быстрая, улыбочивая, вся состоящая из плавных линий и шелковых теней, и боялся только одного – что умрет от счастья, не дожив до очередного вечера.

На долгих стоянках крикливые и нарядные бабы продавали неряшливую сирень и первую землянику – и Маруся, разглядывая с палубы толкотню на деревянной пристани и многосложные наряды провинциальных дам, весело объясняла Чалдонову, почему передвижники – это не искусство, а просто жалкое подражание тому, чему подражать – грех. Понимаешь – именно грех! Вон-вон, посмотри вон на ту тетку с пирожками, просто прелесть, правда? Лоб – хоть поросят об него бей. А глазищи, глазищи-то какие! Чудо! Разве можно передать такое красками или пусть даже словами? Маруся на секунду задумывалась. Разве что сыграть? Как фугу? По мне, так эта баба даже грандиознее фуги! И Маруся, музыкальная, как все Питоврановы, принималась негромко напевать что-то густое и титаническое, действительно похожее на торговку на пристани, которая легко на весу держала огромную корзину с огненными, укутанными в тряпки, новорожденными пирожками. Пирожки были толстые, сытные, с ливером, луком и гречневой кашей – ужасные! – смеялась Маруся, присаживаясь на корточки и делясь простонародным лакомством с вислогрудой дворняжкой, которая льстивым вьюном крутилась у ее ног. На-ка вот, мамаша, угостись. Много у тебя щенят, а? Признавайся?

Дворняжка жадно хапала ароматное тесто, не забывая при этом всей задней частью сигнализировать самую пылкую приязнь к новоиспеченной госпоже Чалдоновой. Щенят у дворняжки было семеро, и всех их пару часов назад утопил в выгребной яме лавочник, человек не злой и даже не жадный, а просто, как и положено истинному самаритянину, разумный и рассудительный. Он мог легко прокормить суку и ее приплод, но восемь собак ему были просто не нужны, и дворняжке еще предстояло узнать об этом. А пока – пока все было хорошо: и солнце, и пережаренная с луком начинка, и ласковая рука в белой перчатке, которая почесывала то за ухом, то загривок, и всякое дыхание славилло Господа, и даже казалось, что Ему это не безразлично.

Маруся в последний раз потрепала полурастаявшую от счастья дворняжку по холке и повела мужа гулять по кукольному Плесу, маленькому, прелестному, похожему на жемчужину, убежавшую в траву из чьейто булавки – жемчужину чуть запыленную, не идеально ровную, но все равно – настоящую. В торговых рядах орали, рвали гармонику, совали зевакам в лицо баранки, пахучую мануфактуру и знаменитую местную пряжу – и обоим, и Чалдонову, и Марусе, было ясно, что оба не ошиблись и это только начало чудесного, долгого путешествия – и, кажется, все будет действительно, как обещано, и их ждет жизнь мирная, долгоденствие, любовь друг к другу в союзе мира, и даровано им будет от росы небесной свыше, и от тука земного, и исполнятся дома их

пшеницы, вина и еля, и всякой благодати – так, чтобы они делились избытками с нуждающимися. А раз так, то и не страшно было потом, когда-нибудь, умереть в один день. И все обещанное сбылось – буквально по пунктам. Кроме одного.

Через год счастливейшего супружества Маруся еще как-то отшучивалась от расспросов родни, желавшей во что бы то ни стало покачать на коленях внуков, еще через год забеспокоилась сама. Несколько лет – несомненно, худших в жизни Чалдоновых – ушло на отчаянную, никому не видимую борьбу. Особенно тяжело Маруся, необыкновенно чувственная и от того особенно целомудренная, переносила врачей. Пройдите за ширму, разденьтесь, пожалуйста, – уверенные мужские руки, пыточные инструменты, скомканный в кулаке потный, звука не проронивший платочек, унижение, ужас, унижительная надежда, раз за разом, раз за разом, один к одному. Были пройдены решительно все круги ада – поездки на воды и на грязи, университетские дипломированные светила, дорогие частные доктора, безвестные лекари, которые «с Анной Никеевной, вон, просто чудо сотворили», причем сама Анна Никеевна, знакомая знакомых чьих-то знакомых, была уже совершенно безлика и анонимна, как денежная ассигнация, – только, в отличие от ассигнации, с ее помощью нельзя было купить даже золотника счастья. В ход пошли даже стремительно входящие в моду гомеопаты, и от похода по бабкам, знахарям и колдунам Марусю спасла только врожденная душевная брезгливость. Причем дело было даже не в грехе, а в том, что ушлые метафизические прихвостни (многие из них, кстати, брали за визит столько, что постыдился бы и самый алчный эскулап) обещали своими торопливыми наговорами, накрест подшитыми полотенцами и сломанными свечками изменить волю самого Бога, а Маруся, как никто другой, всей своей сутью чувствовала, что это именно Его воля – не давать им с Сережей детей. Противиться этой воле было бессмысленно, можно было только попросить, как просишь родителей подарить к именинам куклу с фабрики Саймона и Хальбига, но взамен литой восковой красавицы в модном шелковом наряде всегда рискуешь получить очередную копеечную книжку про медведя, а то и отеческую оплеуху. Но Маруся не боялась оплеух, она всего лишь хотела знать – почему и за что ей отказывают. Почему и за что – именно ей?

Походы по врачам, на которых настаивал Чалдонов, были для нее чем-то вроде вериг для юродивого – еще одно испытание, неистово истязующее плоть, но взамен так же неистово прокаляющее дух. Главное было другое – икона Божией Матери «Взыскание погибших», икона родителей Богородицы – праведных Иоакима и Анны, икона праведной Елизаветы – матери Иоанна Предтечи, мощи святого мученика младенца Иоанна в Киево-Печерской лавре, чудотворная икона

Толгская в Толгском монастыре, рядом с ней на поручнях – икона Божией Матери Знамение, под которой нужно трижды проползти и слезно молить Пресвятую Богородицу. Маруся проползла и плакала так, что из храма ее вывели под руки.

Еще был Зачатьевский монастырь, и чудотворная икона Милостивая, и мощи преподобной Софии Суздальской. Духовник Маруси отец Владимир, сухой, лукавобородый седой старичок, который крестил и окормлял, кажется, все потомство Питоврановых, посоветовал написать в Афонский монастырь Хиландр, и через три месяца никем не замеченного ожидания Маруся получила от афонских монахов бандерольку с кусочком лозы святого мироточивого Симеона, плодоносящей уже тысячу лет. Кроме черствой веточки в посылке была иконка святого Симеона и три изюминки. Их полагалось съесть бесплодным супругам – две жене, одну – мужу, предварительно проведя сорок дней в строгом посте – без вина, варения и елея. На практике это означало хлеб, воду да сырые овощи. Отец Владимир сказал, что Симеонова лоза – средство вернее верного. Чалдонов поста не выдержал, через неделю сорвался, пошел, как наголодавшийся пес, за ароматом щей и опомнился только в трактире, среди пахучих ямщиков и самого затрапезного люда. Миска перед ним была пуста до блеска, половой, ловко заложив руку за спину, уже тащил поднос с вареной говядиной, слезоточивым хреном и солеными огурцами. Чалдонов, сгорая со стыда, махнул на себя рукой и, чтобы усугубить ужас падения, потребовал к говядине водки.

А Маруся не сдалась, не отступилась, только от слабости почти перестала бывать на людях, и соскучившийся по дочери Питовранов-старший заглянул к молодым сам – Чалдоновы тогда снимали полдома на Поварской, Сергей Александрович был на хорошем счету и, если учесть еще и частные уроки, зарабатывал совсем-совсем недурно. Питовранов молча посмотрел на Марусино обглоданное му?кой и голодом лицо и за рукав вывел Чалдонова за дверь.

– Я вам дочь свою доверил, Сергей Александрович, не для того, чтоб она свихнулась, – сказал он тихо, но так страшно, что Чалдонов, как нашкодивший пацан, спрятал враз вспотевшие руки за спину. Тестя он любил и после свадьбы подружился с ним еще крепче, чем раньше, – без условностей, без обязательств. Впрочем, по-другому дружить не умели оба.

– Я отговаривал, Никита Спиридонович. Но отец Владимир благословил на пост – сказал, только воздержанием и молитвенным подвигом.

Питовранов-старший пожевал в кулаке роскошную бороду, потом дернул – будто хотел оторвать.

– Отцу Владимиру, старому дураку, я еще морду набью, – пообещал он. – Но ты, Сережа, ты же математик, ученый человек, как ты мог распустить дома такие дикие, первобытные суеверия!

Чалдонов растерянно молчал – слышать такое от профессора богословия было невероятно, даже жутко – но еще жутче была Маруся, ничуть не изменившая прежнего веселого, ровного, внешнего тона – и вся скорченная, ни за что изуродованная внутри.

Тем же вечером к ним пришел встревоженный отец Владимир – вразумлять слишком далеко заблудшее духовное чадо, и Чалдонов, лакомя старенького священника чаем с вареньем, безотчетно искал на его сморщенном от пожизненной умиленности лице следы побоев. Кулаки у старшего Питовранова, несмотря на архиерейские ученыости, были такие, что любой купец позавидует. Но Маруся никого не послушалась, продолжала нести свой одинокий, никому не нужный пост – и Чалдонов, на коленях, со слезами умолявший жену не губить себя, не губить их обоих, понимал, что все напрасно, все зря, ничего эти слезы и мольбы не изменят. Маруся была упряма – и по наследству, и посвоему, – и не было в этом упрямстве ничего косного, дикого и больного. Она просто хотела знать. Просто хотела знать – за что и почему.

Через сорок дней присланные с Афона изюминки были съедены – с молитвой, с трепетом, с невероятной, глазом видимой надеждой. Все напрасно. Дверь не отомкнулась. Не вышел даже швейцар, чтоб передать, что никакого ответа не будет. Маруся подождала еще немного и тихо вернулась к себе.

Все, к боязливой радости Чалдонова, стало как будто прежним, прекратились пастыри и доктора, бесконечное – до ломоты в коленных чашечках – бдение перед иконами. Чалдоновы сидели за воскресным столом, было снова лето и утро, белые занавеси в столовой вздувались и опадали, вздувалось и опадало за ними зеленое и золотое, и батистовое платье на Марусе было прохладным сверху и огненно-гладким внутри.

– Агаша войдет – и будет стыдно, – упрекнула Маруся Чалдонова, ласково шлепнув его по лбу чайной ложечкой – тоже горячей и гладкой.

– Не войдет, – пробормотал Чалдонов, воюя с крошечными скользкими пуговичками и шелковистой тесьмой, – я ее за самоваром отправил, теперь часа два не дождешься.

Маруся все еще мягко отводила его руки, но он слышал, чувствовал, как сбилось ее дыхание, и знал, что через минуту все будет по-другому – вкус, жар, аромат, отзывчива она была удивительно, невероятно, о такой возлюбленной можно было только мечтать, если бы Чалдонов смел, конечно, мечтать о чем-нибудь подобном...

– Подожди, Сережа, – сказала Маруся, верхняя губа у нее всегда мгновенно вспухала от поцелуев, и это была ее особенная, Марусина, прелесть, от которой еще больше дрожали у Чалдонова руки и кружилась голова. – Мне нужно съездить в Кострому, к Феодоровской Божьей Матери.

Чалдонов потрясенно отстранился, не понимая, как она, такая чуткая, могла вдруг все испортить, и это утро, и солнечные законные пятна, и прозрачные медовые потеки на столовом ноже, и вкус собственных губ.

– Это будет в последний раз, Сережа. – Маруся легко погладила мужа по щеке. – Честное слово, в последний раз. Я обещаю.

В Кострому они поехали вместе – и, хотя оба изо всех сил старались держаться как обычно, это оказалась невеселая тень их чудесного свадебного путешествия. Чудотворная икона Феодоровской Божией Матери, писанная самим евангелистом Лукой, обитала в Свято-Троицком Ипатьевском монастыре, вызывающе богатом, белокаменном, похожем на зачерствевший кремовый торт. В Троицкий собор Чалдонов не пошел, остался снаружи – из деликатного крестьянского страха помешать, напортить что-нибудь своим корявым присутствием. Маруся, все еще сильно осунувшаяся, низко повязанная простым, сероватым в капочку платочком, оглянулась на мужа с порога, будто боялась или не решалась сделать последний – действительно последний шаг. Губы ее безостановочно, беззвучно шевелились, и Чалдонов знал, что Маруся молится – матери Богородицы Анне: «Дажь плод чрева призывающим тя, разрешая мрак их бесплодия и, яко разрешение бесплодия, безчадных жен благочадны сотвори ублажающих тя и славословящих Богочеловека – Внука твоего и Создателя и Господа». Поразителен мир, где даже у Бога есть бабушка, и бабушке этой

можно пожаловаться не только на разбитые коленки, но и на разбитое сердце.

Чалдонов вздохнул и присел на укромную, спрятавшуюся в самой сердцевине мохнатых кустов скамеечку; монастырь был ухоженный, зеленый, знатный – хранитель романовских устоев. И хотя и к регулярным приездам царской фамилии все давно привыкли, все же внешний форс неизменно блюли. Садам монастырским и монастырской солдатской чистоте можно было только позавидовать. Чалдонов присел, охлопал по привычке карманы – курить хотелось до горькой слюны, но достать папиросы не решился. Пахло солнечной, сочной, недавно политой листвой, жирным сытым черноземом, и оглушительно верещала в перепутанных ветках птица – распекала Чалдонова за то, что беспокоил ее гнездо.

По монастырю сновали паломники, которых ловко, как овец, сгоняли в надобные места черные, поджарые монахи, степенно шли к молитве нарядные миряне, но в большинстве своем люди толклись некрасивые, переломанные, перебитые жизнью, униженные, притащившиеся сюда за последним приютом, за надеждой, которой больше не осталось даже внутри. Чалдонов поморщился – подранков, которых вечно собирала вокруг себя Русская православная церковь, он втайне презирал, и больно было думать, что среди этих отчаявшихся, сырых и убогих, приползших ко входу в обещанное царствие небесное, оказалась и его Маруся – живая, чудесная, вся насквозь настоящая. Он уважал всякую веру, и Марусину – особенно, но, помилуйте, при чем тут сам институт церкви – эта громоздкая, вроде государства, уродина, способная перемолоть в труху даже самый лучший человеческий материал.

Словно в ответ чалдоновским мыслям на площади перед Троицким собором появился монах, не нестеровский сусальный инок, а настоящий Христов воин, Господень пес – только в православном обличи. Высокий, широкоплечий, невероятно, почти пугающе красивый – нездешней, нечеловеческой и, уж конечно, совсем не Божеской красотой, он шел, широко раздувая черные рясные крылья, и с таким яростным презрением смотрел поверх человеческих голов, будто боялся замараться. Толпа, приседая и крестясь, расступалась перед монахом, оторопевшая от существа нездешней, невиданной породы. «Ить, какой ладный», – ахнула восторженно какая-то бабенка, сама ладная, как облупленная луковка, и лицо монаха вдруг мгновенно перекопилось от ненависти, словно вспыхнуло изнутри ярким, черным огнем, – и тут же снова стянулось в брезгливую гримасу.

Чалдонову стало не по себе, будто он оступился на высоте и лишь в последний момент ухватился рукой за неверный поручень. Богу не было ни малейшего дела до людей – это было ясно. Он наполнял протянутые сосуды без разбору, без толку, не замечая слез, не слушая молитв. Зачем этому доморощенному костромскому Люциферу было отпущено столько телесной красоты и мощи? Почему Маруся снова стояла на коленях перед очередной иконой – в темноте, в страхе, в отчаянии – и не видела ничего, кроме масляных охряных бликов на огромной старой доске? За что Господь не сподобил их увидеть чада чад своих, разве это было справедливо?

Птица, отчаявшись напугать Чалдонова своей трескотней, решила сменить тактику и, выбравшись из веток, заковыляла по траве, волоча крыло и припадая по наивности то на одну, то на другую лапку, – притворялась раненой, беззащитной. Спасала детей.

– Не бойся, дуреха, – пробормотал Чалдонов, утирая мокрые глаза – права Маруся, я настоящий плакса и нюня, – да не трону я твой приплод. – Птица остановилась, посмотрела на Чалдонова круглым непроницаемым глазом – он любил скворцов, они были умные, веселые и не бездельники, в деревне у них было полно скворцов. – Ухожу. Ты слышишь? Уже ухожу. Сколько же можно, а? Так долго! Сколько нам так еще брести? Долго ли муки сея будет? До самая смерти, матушка! До самая смерти...

Он так ждал, когда же Маруся, наконец, выйдет, что, разумеется, прозевал, как отворилась огромная дверь храма. Просто в один момент воздух вокруг стал другим, и оказалось, что Маруся уже идет по двору, низко опустив голову, идет медленно-медленно, как будто в храме вместо утешительной ладони ей на плечи опустили еще один крест. На этот раз уже совершенно непосильный. Все, понял Чалдонов, – все, ничего не помогло. Даже последнее. Поломали. Изуродовали. Добили. Мою Марусю. Захотелось кричать, даже визжать: как будто на его глазах терзали ребенка или кошку, и совершенно никак нельзя было помешать бессмысленной и долгой муке ни в чем не повинного, ничего не понимающего существа. Маруся все шла и шла – будто во сне, раздвигая тяжелую воду, и с каждым ее шагом Чалдонов ненавидел Бога все сильнее. Эта ненависть разбухала внутри – в пустой, темной, реберной клетке, – становилась все больше и больше, так что сначала стало невозможно дышать, потом верить и, наконец, жить.

Маруся подошла, легко положила мужу на рукав теплую ладонь.

– Что ты, милая? Как ты? – Чалдонов суетливо поцеловал Марусин висок, одернул пиджак, зачем-то поправил волосы – как будто пытался всей этой мелкой неловкой возней отвлечь Бога от собственного гнезда. Ненависти больше не было, был только страх, что неминуемый огненный столп теперь может обрушиться и на Марусину голову. Снова он все испортил, всем навредил. Недотепа. Дурень. Стоеросовая башка. Он хотел посмотреть жене в глаза и отчаянно трусил. Она была очень сильная, Маруся, но даже ее можно было раздавить. Раздавить можно вообще любого – особенно если ты Бог.

– Поедем, Сережа, – тихо сказала Маруся. – Поедем, наконец, домой.

– А как же... – Чалдонов замялся, не зная, как продолжить. Как же вера? Как дети? Что будет дальше? Какая станция следующая – сумасшедший дом? церковный развод? петля, торопливо прикрученная к остревому хребту люстры?

– Поедем домой, Сережа, – повторила Маруся мягко. – Я обо всем договорилась.

Чалдонов наконец осмелился взглянуть ей в лицо. Глаза у Маруси оказались точно в тон платку – светлые, в крапинку – и очень спокойные. В них не было ни боли, ни гнева, ни надежды. Вообще ничего. Полная тишина.

Она действительно договорилась.

Ни она, ни Бог так и не сказали Чалдонову, в чем был смысл этого договора, но оба слово свое держали крепко. Чалдонов был счастлив в браке так, как только может быть счастлив рядом со смертной женщиной смертный мужчина. О детях вопроса больше не было никогда – как не было и самих детей. Марусю, впрочем, это больше, кажется, не волновало совершенно.

Она охотно и как будто даже радостно занялась делами мужа – его стремительно растущей карьерой, его научными работами и университетскими дрязгами. Чалдонов уверенно и мерно шел в гору, причем сплав крестьянского упорства и большой математической одаренности позволил ему сочетать виды деятельности, обычно сочетаемые крайне неохотно. Тем не менее Чалдонов одновременно показал себя ярким ученым и толковым администратором. Его оценили, продвинули, пригласили – словом, все шло правильным, благополучным

чередом, и вечерами Маруся, стоя на коленках на поскрипывающем от усилий стуле, набело переписывала будущую диссертацию мужа, усердно высунув язык и ровным счетом ничего не понимая. «...То и решение соответствующей задачи на течение газа может быть написано при помощи такого же ряда, во все члены которого войдут некоторые поправочные коэффициенты, выражаемые через Гауссовы гипергеометрические ряды...» – выводила она четким почерком с сильным и непривычным уклоном влево, что, по свидетельству графологов, говорит о полном контроле разума над чувствами. Чалдонов подходил сзади и тихонько дул Марусе на шею – прямо в пушистые щекотные кудряшки.

– Не пыхти на меня, – сердилась Маруся, – ты не видишь, я работаю. Сам же говорил, что надо скоро!

Чалдонов смиренно отходил в сторону, и Маруся, не оборачиваясь, строго распорядилась – буфет чтоб не разорял, ужин скоро! Нет, что ты, клялся Чалдонов, стараясь не скрипнуть предательской дверцей.

– Гауссовы гипергеометрические ряды... – нараспев повторяла Маруся. – Очень красиво! Правда, непонятно. Это хоть что-то значит?

Чалдонов готовно мычал, пытаясь проглотить только что украденный кусок мяса:

– Ну как не стыдно, – возмущалась Маруся. – Через час за стол садиться, а ты... Телятину! Да еще и холодную! И всю подъял! Мне ни кусочка не оставил!

Круглобокая кухарка, пришедшая накрывать на стол, заставляла супружескую чету мирно поедающей варенье прямо из банки, причем Чалдонов увлеченно излагал Марусе основы газовой динамики, не замечая, что молодая жена орудует ложкой, бессовестно не соблюдая очереди. Работа «О газовых струях», представленная им в качестве докторской диссертации на физико-математический факультет Московского университета, была с блеском защищена в феврале 1894 года, и в том же году Чалдоновы отметили пятилетие со дня свадьбы.

Вопреки логике счастливых браков Маруся не превратилась в восторженную тень собственного супруга. Может быть, и потому, что Чалдонов прекрасно понимал, что дом, который вела его жена – порой упрямый и капризный, словно

живое существо, – это тоже работа, тоже творчество, нужное миру ничуть не меньше, чем его научные изыскания или, скажем, мурчание кошки, вылизывающей сонных сытых котят. Мало того, Чалдонов был искренне уверен в том, что смысла в Марусиной ежедневной жизни куда больше, чем в его собственной. В разложенной на большом столе выкройке нового платья, в устройстве личного счастья горничной (прислуга Чалдоновых была почему-то особенно подвержена романтическим страстям, и Маруся то и дело выдавала очередную зареванную девушку замуж), даже в том, как Маруся, почесывая карандашом нежную шею, продумывала завтрашний обед, выгадывая из одного куска говядины и жаркое, и щи, и начинку для слоеных пирожков, – во всем этом была какая-то удивительная, трогательная, сразу понятная логика маленьких событий, из которых только и может сложиться большое счастье. По ночам Чалдоновы спали вместе, обнявшись, и, не просыпаясь, оба поворачивались на другой бок, стоило одному отлежать во сне ставшую огненно-игольчатой и непослушной руку.

Питоврановы – ставшие за это время еще шумнее и дружнее – часто бывали у Чалдоновых в гостях. Племянники и племянницы, которые каждый год нарождались в пугающей, почти геометрической прогрессии, обожали тетю Марусю, которая обладала врожденным женским даром качать, пеленать, напityвать жидкой кашкой, отчитывать за расколотую тарелку (и ловко прятать осколки от прочих взрослых), пугать страшными историями и объяснять географию. И все это так, что даже самый капризный ребенок ни секунды не чувствовал, что его принуждают к чему-то, что он не желал бы или не мог сделать сам. Чалдонов даже ревновал жену к этой малолетней ораве, которая вечно повисала на Марусиных юбках, – притом что с детьми она никогда не сюсюкала и при случае могла оставить отменный пылающий отпечаток на провинившейся попе.

Родители как-то раз заговорили с ней о том, что можно бы взять сироту из дома призрения, но Маруся только удивленно подняла брови.

– Зачем? – сказала она просто. – У меня будет ребенок. Я знаю. Обязательно будет. Я в это верю, понимаете?

Мать не выдержала – расплакалась, она сама четырнадцать раз рожала, вырастила шестерых, остальных восьмерых прибрал Вседержитель, чтобы было кому резвиться у подножия Его сияющего престола.

– Что же ты говоришь, Маруся, если Господь не попустил, можно ли перечить?

– А я и не перечу, мама, – упрямо повторила Маруся. – Я просто знаю.

Шел 1899 год, начало нового века, новой эры, Россия каждый вечер утопала в полураздавленных кровавых закатах, про которые писали все, кто мог писать, и которые тревожили даже тех, кому не о чем было волноваться. Марусе исполнилось тридцать – и это уже чувствовалось, чуть мягче стала грудь, чуть резче – скулы, по утрам уже не так радостно откликалась она мужу, хоть и знала, что он больше всего любит эти моменты, когда она была полусонная, теплая, словно слегка заторможенная долгим, блаженным, ни чуточки не страшным небытием. Жизнь проходила сквозь Марусю и мимо нее, но она все равно знала, что Бог выполнит данное обещание, как взамен она сдержала слово, данное Ему. И Бог оказался справедливым.

Ребенок у Маруси появился в сорок девять лет.

И ничего, что им оказался щедушный жиденок с горячими и веселыми – вопреки национальным велениям – глазами. Ничего, что ему было восемнадцать и что кроме вшей он принес в дом еще и отчаянно злую чесотку. Это был ее ребенок, Марусин. Ее единственный мальчик. Ее золото. Ее Лесик.

Она сразу поняла это, как только открыла дверь.

Глава третья

Лазарь

У Лазаря Линдта был удобный – девятисотый – год рождения, заранее облегчавший случайному кладбищенскому зеваче все сложности праздного пересчета. Прочие покойники словно давали себе и свидетелям некий шанс: как будто сложные цифры на надгробии сулили особенно долгую и непредсказуемо интересную жизнь или даже бессмертие – которое, впрочем, длилось ровно столько, сколько требовалось прохожему на то, чтобы мысленно отнять одну четырехзначную цифру от другой. А тут – никакого напряжения мысли, никакого

шевеления губами: вся судьба гладко и ловко укладывается в элементарное арифметическое действие – минус сто. Пойдем, что ты застрял у этой оградки? Да-да, дорогая, конечно, сейчас.

Самому Линдту на такие глупости, как собственная смерть, было наплевать – он был однозначный атеист, убежденный ревнитель базаровского лопуха. И, как ни странно, именно ощущение безусловной смертности, конечности земного существования дарило ему то же самое ровное и радостное бесстрашие, которым горели первохристианские мученики, пожираемые на аренах самую чуточку мультипликационными львами. Впрочем, к старости атеизм Линдта начал слегка горчить и выдыхаться, словно разошлись какие-то резиновые прокладки, притиравшие пробку – ту самую пробочку над крепкий йодом, и Линдт не то чтобы стал верить – скорее, просто устал сомневаться. Он прожил невероятно длинную и очень удачную с любой точки зрения жизнь: провалы, аресты, расстрелы, идейные противники и бытовые завистники – все это происходило с кем угодно, только не с ним. Его боготворили друзья, уважали и побаивались оппоненты, обожали женщины. Все женщины – кроме одной. Даже не ошибка – меньше. Просто погрешность в тысячной после запятой.

– Ты, Лазарь, как будто не в наше время живешь, ни черт тебя не берет, ни советская власть, – ворчал Чалдонов, гоня под пересохшим языком ледяную таблетку валидола.

– Так их нету потому что, Сергей Александрович. Вот и не берут.

– Кого нет, Лазарь? Что ты несешь?

– Да никого нет – ни чертей, ни советской власти, Сергей Александрович. Люди всегда одинаковые. От сотворения Адама. Я просто умею с ними договариваться.

Линдт повозился, устраивая в кресле тощую язвительную задницу, и с наслаждением огляделся. Он обожал домашний кабинет Чалдонова – книжные шкафы, огромный стол, аппетитные залежи умного бумажного мусора, полумрак. Век бы отсюда не уходил, честное слово.

Чалдонов покачал головой. Договаривайся не договаривайся, а времена наступали самые людоедские. Шел 1937 год, на физфаке МГУ азартно громили троцкистов – и хоть до большой беды ученые умы не дошли, перьев и пуха по

ветру напустили немало. Впрочем, разборки были исключительно внутренние – Родина, отдадим ей должное, физиков вообще особо не трепала – понимала, стало быть, что к чему, и кого бабы еще нарожают, а кого лучше не трогать, потому что выйдет однозначно – себе дороже. Жди потом полтора года лет нужного сочетания генов да воруй у соседей по мелочи устаревшие технологии. Но Чалдонов, человек клинически порядочный и честный, каждую словесную баталию на заседании ученого совета воспринимал как настоящее сражение, причем вполне в духе Достоевского: дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей.

Линдт на этих шабашах демонстративно садился поближе к оратору и быстро начинал строчить что-то в тетрадь. Не то протоколировал, не то работал – мало кто разбирал его чудовищный, крючковатый, совершенно паучий почерк. Впрочем, суть записей тоже не понимал почти никто, но пара десятков ученых по всей планете от одного только имени – Лазарь Линдт – благоговейно закатывала глаза. Это звучало банально, но от этого не становилось менее значительным. Линдт работал на стыке физики, химии и, кажется, математики – на той невероятной высоте, где исчезают последние человеческие сомнения и сквозь истончившуюся ткань большой науки начинает просвечивать реальная плоть Единого Бога. Линдт был самым обыкновенным гением – и это понимали даже те, кто вообще ничего не понимал. Особенно в науке.

Но, несмотря на очевидную всем гениальность, в свои тридцать семь Линдт все еще ходил в вундеркиндах – звание глупое и тесное, как короткие штанишки на великовозрастном балбесе, но как еще могли называть его в мире, где средним возрастом признания считался семидесятилетний юбилей? Самый молодой профессор, самый молодой автор самой обсуждаемой монографии, самый плодовитый исследователь, собравший вокруг себя самую тесную стайку самых дерзких юнцов. Безусловно, он многих раздражал. Очень многих. По логике, Линдту давно следовало возглавлять целый отдел, а по уму – так и свой институт, потому что все идеи, которые он генерировал – часто на ходу, между делом, – он сам был не в состоянии ни воплотить, ни даже толком запомнить. Как любой человеческий выскочка, случайно, ни за что осененный свыше, Лазарь предпочитал заниматься только тем, что было интересно лично ему, – причем это «интересно» включало в себя не только науку, но и, например, прекрасный пол, до которого Линдт – обаятельный, как все уродцы, – был большой лакомка и охотник. Еще он любил хорошие книги, причем хорошеть таковых определялась не только автором и содержанием, но и годом издания. Полиграфическую продукцию, изданную после 1917 года, Линдт не признавал принципиально, и московские букинисты обожали его и за этот чудесный снобизм, и за чувство

юмора, и за щедрость, и за поразительное чутье, но самое главное – за нежность, с которой он брал в руки очередной потрепанный том. Будто дотрагивался до коленей полураскрытой, дрожащей от нетерпения красавицы. Он был великолепный любовник, то есть, конечно, читатель – щедрый, умелый, благодарный, смелый. Ни одна не уходила от него обиженной – потому что с женщинами и книгами было приятно и выгодно дружить. Язвил и издевался Линдт только над мужчинами. С ними приятно и выгодно было не иметь дела вообще. К сожалению, так почти никогда не получалось.

Разумеется, Родина очень быстро приспособила Линдта к войне, как приспособлявала к ней все, что считала хоть сколько-нибудь полезным. Линдт не возражал – какая разница, к чему в итоге применяли его выводы – к усилению обороны страны или к увеличению молочных надоев. Это была не неразборчивость, не душевная тугоухость, а твердый и осознанный расчет. Во-первых, Линдт был начисто лишен нелогических человеческих сантиментов, во-вторых, процесс решения очередной научной задачи интересовал его куда больше конечного результата, в-третьих, он был взрослый и очень умный человек – в отличие от многих своих последователей, которые сперва азартно изобретали водородную бомбу, а потом так же азартно в этом каялись. Физика же, по мнению Линдта, была самым неподходящим занятием для бздунов. Или ты физик и идешь до конца, или просто трусливый лживый недоучка. Фарисеев Линдт не выносил.

Трудно сказать, почему его не пустили в расход или хотя бы не посадили. Может быть, потому что он был невероятно, почти анекдотически непрактичен и нечестоблюбив, а во всех сталинских делах – только копни – на свет вылезают банальные человеческие страстишки – деньги, почести, слава, которых никогда не хватает на всех желающих. Может, дело было в чувстве юмора – все-таки сражаться с человеком, который все время смеется, не только бессмысленно, но и унижительно для нападающего. А может, секрет таился в пресловутой гениальности – Линдт был на вид совершенно как все, но по каким-то едва уловимым признакам, по незаметному, но сильному перекосу по всем привычным швам отличался не просто от своего биологического вида, но, возможно, и от белковых форм существования жизни вообще. Скорость, с которой он думал. Отчетливый, чуточку механический смех. Великолепное пренебрежение любыми нормами размеренной человеческой морали. Манера быстро, по-обезьяньи, почесывать выпуклые гениталии. Хаос, который он производил, – жуткий, первобытный, вещественный хаос. Линдт был явно иной, нездешней закваски – очень может быть, что даже на клеточном, биохимическом уровне. Это было совершенно ясно – и очень страшно. По-настоящему страшно. Тем, разумеется,

кто был в силах понять.

Конечно, огромное значение имело покровительство Чалдонова, который с чугунным, локомотивным упорством тащил Линдта за собой, прикрывая одышливым раскаленным боком от малейшего неласкового дуновения извне. Линдт, несомненно, пробился бы и сам. Может, на десятилетие позже, может, иной ценой, но – пробился бы. Но Чалдоновы...

В восемнадцатом Линдт прожил у Чалдоновых почти три месяца – на два больше, чем требовалось, потому что карточки, пайки, ордера, комната – все было (усилиями Чалдонова, конечно) готово почти сразу, почти сразу же исчезли вши, почти сразу же начались споры. Они с Чалдоновым орали друг на друга, надув горловые жилы, ссорились, причем особенно азартно – из-за теории движения тел с неинтегрируемыми связями.

– Мальчишка, – вопил Сергей Александрович, – неуч, сопляк, да я за эти выводы золотую медаль Академии наук получил!

– Царской академии наук, – ехидно улыбался Линдт. – А это, согласитесь, в нынешней ситуации совершенно меняет дело. Вот если бы в академии действительно интересовались наукой, то непременно обратили бы ваше внимание вот на эту обаятельную нелогичность...

Линдт принимался писать прямо на обороте какого-то не то декрета, не то приказа – власть исправно снабжала Сергея Александровича бесчисленными энцикликами и циркулярами, и если бы не эта полиграфически-канцелярская щедрость, ему наверняка пришлось бы бросить курить.

– Чаю, мальчики? – спрашивала Маруся, с любопытством заглядывая Линдту через плечо. За другим плечом пыхтел нависший Чалдонов, неразборчиво, но явно матерно бормоча. Линдт тотчас вскакивал, не дописав.

– Разумеется, чаю, Мария Никитична. Давайте я вам помогу.

– Так не дописал же! Не дописал! Потому что нечего дописывать, и нет тут никакой нелогичности! – вопиял Чалдонов, втайне страшно довольный и отчаянными (ну, совершенно как когда-то с Жуковским!) спорами, и веселой дерзостью Линдта, и даже диковатым, горьким, отчетливо меховым запахом,

который он принес в дом. Как будто они с женой приручили никому не дававшуюся в руки молодую ласку.

- Не шуми, Сережа, - укоряла Маруся. - Лесик, не слушайте его - эту золотую медаль дали не ему, а мне - причем за отличный почерк. Сколько раз я переписала эту твою теорию движения никому совершенно не нужных тел? Вот именно - шесть раз! Кстати, Лесик, вы не поверите - я сегодня сменяла на десяток яиц как раз шесть серебряных ложечек! Подумать только, в четырнадцатом году эти самые ложечки стоили десять рублей, а десяток яиц - двадцать пять копеек!

- Ты все равно их терпеть не могла, Маруся, - утешал Чалдонов.

- Ложечки? - смеялась Мария Никитична. - Или яйца? Пойдемте-ка лучше обмывать эту грандиозную сделку - кроме яиц удалось добыть немного муки, и я напекла совершенно дореволюционных пирожков - правда, без сахара и без масла, но на вид решительно вкусные. Между прочим, за пуд ржаной муки просят три фунта махорки - вы только вообразите себе! Целый пуд!

Линдт и Чалдонов выражали согласное возмущение - как могла Маруся даже подумать о том, чтобы тащить на себе с Хитровки целый пуд муки! Когда в доме есть сразу два сильных и выносливых мужчины! Самых сильных и самых выносливых, весело соглашалась Маруся, проворно накрывая на стол и локтем прикрывая блюдо с пирожками от посягательств мужа. Но при этом невероятно глупых. Сами подумайте, откуда мне взять три фунта махорки, если некоторые не вынимают самокрутку изо рта! Никогда не курите, Лесик. Отвратительная привычка! Вы же не начнете курить? Обещайте!

Линдт кивнул с серьезностью, которую никто не заметил и никто не оценил. Курить он бросил тем же вечером - вышел в ледяной московский двор и вывернул из кармана даже не махорку - просто труху, табачный сор, добытый бог весть какой ценой, бог знает где, и такой вонючий, что Линдт, самозабвенно смоливший лет с десяти, ни разу не осмелился скрутить собачью ножку у Чалдоновых дома. Больше он в жизни не сделал ни одной затяжки, и если бы Маруся захотела вить из него веревки, то получившихся пеньковых изделий с лихвою хватило бы на всю Россию, а то и на весь обитаемый и необитаемый мир. Но она не хотела. Не хотела мучить своего мальчика. Такая чуткая, не видела и не замечала ничего. Линдт со стоном втянул в себя стиснутый, насквозь замороженный воздух и пошел назад, в дом. В тепло. Плевать на махорку.

Можно отказаться от чего угодно – если тебе на самом деле есть куда идти.

Даже съехав в комнату, а потом и в свою собственную квартиру (благополучие Линдта росло прямо пропорционально благорасположению властей и обратно пропорционально его собственным потребностям), он не перестал бывать у Чалдоновых. Сначала едва ли не ежедневно, потом еженедельно – мучительный период ненужной деликатности, который Маруся, смекнув, в чем дело, решительно и быстро пресекла, – потом снова ежедневно, так что у Чалдоновых быстро появилась чашка Лесика, его любимое место за столом, диван, на котором он, припозднившись, оставался ночевать – привилегия, использовавшаяся действительно в исключительных случаях. Когда в двадцать третьем Маруся чуть не умерла от тифа. Не хочу даже вспоминать. Не буду. Слишком страшно. Или в двадцать девятом – когда Чалдоновы отмечали сорокалетие со дня свадьбы, и чуть не умер уже Сергей Александрович, на радостях преизрядно перебравший «рыковки» – тридцатиградусной, мерзкой, но зато быстро пополнившей казну молодого советского государства.

Надо признать, что из всех деяний Совета Народных Комиссаров самым удачливым и значительным следует признать именно декрет о разрешении продажи водки, изданный в конце 1924 года. Доход от питейного дела вырос в разы – от 15,6 миллиона рублей в 1922–1923 годах, до волнительных 130 миллионов в годах двадцать четвертом и двадцать пятом. Неплохо, если учесть, что бутылка стоила рубль семьдесят пять. Неблагодарный народец, впрочем, норовил обозвать водку «полурыковкой» и завистливо утверждал, будто настоящую «рыковку» – в шестьдесят градусов – употребляет сам председатель Совнаркома товарищ Рыков. В одно, надо полагать, рыло. И как только не лопнет, сволочь этакая!

Впрочем, малопьющему и умиленному любовным юбилеем Сергею Александровичу хватило и «полурыковки», употребленной вне всякой меры и такта, так что Маруся, ругаясь и смеясь, упросила Линдта остаться – потому что я одна не управлюсь, Лесик, и потом его же все время тошнит. Нет-нет, не убирайте! Ни в коем случае не убирайте! Пусть утром проснется и увидит, что натворил! Чалдонов, которого с большим совместным трудом удалось уgomонить и загнать в постель, мирно почивал, разложив по подушке нимб из благородных и слегка заблеванных седин. Совершенно свой у Чалдоновых, Линдт вдруг понял, что впервые оказался в хозяйской спальне – маленькой, простеганной ночными тенями, похожей на нескромную шкатулку, захлопнувшуюся изнутри. Было почти нестерпимо душно – от рвотных ароматов, багровых гардин, от

красного пухлого одеяла, отчего-то не убранного по случаю летнего времени, от венозного румянца, блуждавшего по чалдоновским щекам. Даже июньский тополиный пух, невесомо и едва ощутимо шевелившийся в полутемных углах, и тот казался душным и жутким, словно в кошмарном сне. И только Маруся была прохладная, в прохладном платье, и гладкие перламутровые пуговички на ее спине тоже были прохладные и обнаженные, как позвонки.

Одиннадцать лет почти ежедневных встреч. Ни одного неосторожного слова. Тридцать один год разницы. В год, когда Линдт родился, она впервые заметила возле глаз грубоватые гусиные лапки, которые не исчезали, как ни передвигала Маруся лампу, пытаюсь обмануть лукавое отражение. Она огорчилась неожиданно сильно для женщины, которая считала себя здравомыслящей и, выбирая ботинки, всегда предпочитала бессмысленной моде здоровую практичность. Застав жену в слезах и невнятных жалобах, Чалдонов помчался в аптеку и принес во влюбленном клюве пакет, содержимое которого должно было, по его простодушному убеждению, волшебным образом преобразить Марусю в сказочную принцессу, каковой она и так, несомненно, была, но – только не плачь, Марусенька, ну что ты плачешь, ты только посмотри, что я тебе купил!

Обнаружив на туалетном столике мыло от головной перхоти провизора А. М. Остроумова (кусочек 30 копеек, продается везде, двойной кусочек 50 копеек, рачительный Чалдонов, разумеется, купил подешевле, но с запасом, чтобы надолго, – двойной) и депилаторий д-ра Томсона в порошке (лучшее и совершенно безвредное средство для удаления волос с тех мест, где они нежелательны, цена коробки 1 р. 50 к.), Маруся действительно мгновенно перестала плакать и устроила Чалдонову великолепнейшую, освежающую, молодую взбучку, после которой сперва хотела подать на развод, а после долго, до изнеможения хохотала, слушая нелепые объяснения до смерти перепуганного мужа, что он же как лучше, и в аптеке божились, что средства патентованные, самые лучшие и к тому же абсолютно безвредны для кожи.

Абсолютно безвредный для кожи депилаторий и мыло от перхоти были в ближайший же праздник торжественно вручены дворнику, непотребному щеголю и сердцееду, который, судя по довольному виду, патентованные и самые лучшие средства употребил с несомненной пользой для себя – хотя и без видимых для окружающих результатов. Маруся, азартно державшая пари, что дворник останется без великолепных усов, проиграла Чалдонову прогулку в Нескучном саду и четыре поцелуя, после чего совершенно, раз и навсегда, перестала волноваться по поводу таких простых и ясных вещей, как жизнь,

увядание, смерть.

Всего этого Линдт, разумеется, не знал, да и не мог знать. Большая часть Марусиной жизни прошла не просто мимо – до и вне его собственной. На его памяти она только старела – легко, весело, самоотверженно, без мук. Ей был к лицу ее возраст, старый, навеки влюбленный муж, были к лицу эти душные сумерки, текущие рвотой, молоком и медом. Лампа, заботливо прикрытая шалью, сияла неярко, будто дотлевающая жар-птица, и свет от нее – мягкий, медный, с шелковыми кистями – играл с Марусиным живым лицом, приглушая седину, нежно сглаживая морщины. *Animula vagula blandula...* Моя нечаянная радость.

Давай, ничтожество, соберись. Сейчас или уже никогда.

– Я люблю вас, Мария Никитична, – тихо сказал Линдт, глядя в сторону, в бесшумно вздыхающий угол, в другой, настоящий мир.

– Я тоже очень вас люблю, Лесик, – легко и невнимательно отозвалась Маруся, поправляя подушку так, чтобы мужу было удобней лежать. – И Сергей Александрович тоже любит. Знаете, Господь не дал нам детей, но...

Линдт вдруг хрипло закашлялся, будто залаял, и быстро, почти бегом, вышел из комнаты.

– Лесик, вы поперхнулись? – рванулась вслед за ним испуганная Маруся. – Надо воды, скорее выпейте воды, – но тут Чалдонов громко, с прямо-таки барскими перекатами всхрапнул и завозился в постели, и Маруся, мгновение поколебавшись, выбрала мужа. Она выбрала мужа.

– Чшшш, милый, я тут. Ляг поудобнее. Вот так.

Когда буквально через минуту она торопливо вошла в кухню, все было в полном порядке. Линдт, вполне отдышавшийся, мыл под витой струей стакан. Уже не тот, из которого пил, а чей-то чужой, испачканный по ободку жирной яркой помадой. Посуды от гостей остались целые вавилоны.

– Вы в порядке, Лесик? – спросила Маруся встревоженно.

– В полном, Мария Никитична, – вежливо откликнулся Линдт. – Не в то горло попало. Извините. – Глаза у него были красные, мокрые, но уже совершенно спокойные. – Ступайте к Сергею Александровичу, я тут пока приберусь.

– Спасибо вам, милый! – сердечно поблагодарила Маруся, и Линдт ловко и незаметно убрал затылок из-под ее ласкающих пальцев. Зря он надеялся, зря мечтал хапнуть то, что ему не принадлежало и принадлежать не могло. Вполне достаточно того, что она просто есть. Просто существует – у других нет и того. Мудрецы, Лазарь, довольствуются малым – видно, пришла пора становиться мудрецом. Линдт взял очередную грязную тарелку, сыпанул из картонки соды, под пальцами скрипнуло, взвизгнуло, отозвалось.

Да, ему двадцать девять и он влюблен в женщину, которой шестьдесят. Нет, не влюблен – он любит женщину, которой шестьдесят, и любил ее, когда ей было сорок девять. И пятьдесят пять. И будет любить ее и в ее восемьдесят лет, и, это уже совершенно ясно, что и в свои. Пусть бросит в него камень тот, кто считает это чувство ненормальным, – Линдт взамен с наслаждением вырвет мерзавцу кадык. Потому что не было на свете ничего нормальнее, яснее и проще его любви, и вся эта любовь была свет, и верность, и желание оберегать и заботиться. Просто быть рядом. Любоваться. Слушать. Следить восхищенными глазами. Злиться. Ссориться. Обожать. Засыпать, изо всех сил прижав к себе. Просыпаться вместе. Никому и никогда не отдавать. Почему это было можно Чалдонову, но нельзя Линдту? При чем тут возраст? Какое значение имеют эти жалкие тридцать лет?

Да, Лазарь Линдт имел наложниц и жен без числа, куда там царю Соломону, его волновали женщины, он волновал женщин, но любил он одну только Марусю. Остальные были просто сосуды, пустые, темные, гулкие, куда он пытался спрятаться, потому что любил Марусю, а она не любила его. Он сходилась и расставался с любовницами легко, едва отличая одну от другой, не запоминая запахов, не вникая в слова, не обращая внимания на жесты. В его случае не имело ни малейшего смысла поститься – целибат ничего не менял, так не стоило понапрасну мучить плоть, она, бедная, уж точно ни в чем не была виновата. Он получал много живого, животного, жаркого удовольствия от женщин, еще больше отдавал – но Марусю. Марусю... Мария Никитична, я вас люблю. Идиот. Жалкое ничтожество. Раз уж для всех эти тридцать лет так непоправимы, сделай так, Господи, чтобы я родился на полвека раньше, пусть кретином, недоумком, нищим обдергаем, не умеющим ни читать, ни считать. Я бы нашел способ найти ее. Она бы меня все равно полюбила. Сделай так, Господи, чтобы

Ты – был...

Тарелка еще раз жалко пискнула под пальцами Линдта и распалась на острые неравновеликие части. Отличный знак, Господи. Я и не сомневался, что Тебе и дела нет до того, что Ты не существуешь. И не надо про Фрейда, оставь себе смешные половые теории дробливого еврея, отчаянного курильщика, обитателя буржуазнейшей квартирки в центре неторопливой респектабельной Вены. Успокойся, моя мать тут решительно ни при чем, она была всего-навсего плодовитая дура, бессловесный автомат, штампующий никому не нужных жидовских младенцев, очень может быть, что она и была святая, но мой папаша уж точно не дотянул до плотника. Хоть в этом мне повезло. В спальне Чалдоновых было тихо – видно, Маруся заснула, прикорнула рядом со своим великим мужем. Если бы он не был моим учителем и ее мужем, я бы его убил. Нет, не так. Я бы убил его в любом случае, если бы это хоть что-то могло изменить.

Линдт обвел глазами бастион вымытой посуды. Из помойного ведра жарко воняло подкисающими объедками. Приготовленный Марусей гусь был выше всяких похвал. В Москве двадцать девятого года было сытно, лениво, и только на рассвете, который медленным бледным киселем заливал окна, чувствовалась какая-то неясная, будущая тревога. Наступали новые времена – очередные и снова страшные. Линдт вышел в переднюю, снял с вешалки пиджак и тихо затворил за собой дверь. В конце пустой улицы поднималось огромное равнодушное солнце. Впереди была длинная жизнь. Очень длинная.

И Лазарь Линдт честно пошел по направлению к последней странице.

Он был родом из какого-то сонного ничтожного местечка – не то на юге Херсонской губернии, не то где-то еще, – поначалу никто не потрудился уточнить ни у Линдта, ни на карте, а когда пришло время кропотливых и неумолимых анкет, то Линдт уже был нужен, ой как нужен. Так что пришлось довольствоваться только труднопроизносимым топонимом Малая Сейдеменуха – да самой беглой проверкой. Вы говорите, ваши все погибли в Гражданскую, Лазарь Иосифович? Расстреляны белогвардейцами? Телеграмма от товарищей из Малой Сейдеменухи лаконично подтверждала, что семейство Линдтов действительно было расстреляно в таком-то году. Правда, в том же году несчастное местечко громили и красные, и белые, и зеленые, и бог весть еще какие звероватые батьки, совсем уже не классифицируемые по партийной или

политической линии, но тем не менее отлично умеющие жечь, вешать, насиловать и убивать. Уточнять, кто именно стер с лица земли родню Линдта, на всякий случай не стали – мог выйти серьезный и никому не нужный конфуз. Сам же Линдт ни о детстве, ни об отрочестве не рассказывал никогда и никому. Не то чтобы скрывал, просто отшучивался, уходил, ловко плеснув хвостом, на какую-то совсем уже не постижимую собеседником глубину, как будто там, в прошлом, остался какой-то незаживший нарыв – такой ужасный и набухший, что даже мысленно дотронуться невозможно.

Чалдонов из любопытства как-то покопался в дореволюционных статистических данных – совершенно для Линдта неутешительных – и выяснил, что в 1897 году, за три года до рождения Линдта, в местечке Малая Сейдеменуха проживало 520 человек, из них 96,5 % – евреи. Большая часть влачила земледельческое существование – на семью выходило в среднем одиннадцать с небольшим десятин земли, полторы коровы и тридцать восемь кур. Чтоб не помереть с натуги, многие баловались ремеслишком, особенно густо было стекольщиков. Впрочем, стекольное дело вообще отчего-то пользовалось у евреев особой популярностью. В местечке кроме перечисленных излишеств имелся молитвенный дом (до собственной синагоги сейдеменуховцы доросли только в начале двадцатого века) хедер и частная начальная школа Абрама-Трайтеля Лейбовича Шайкина – полоумного еврейского святого, усердно сеявшего в Малой Сейдеменухе разумное, доброе и вечное – уж чего-чего, а вечного у евреев всегда было хоть отбавляй.

Шайкин, происходивший из нищелюбнейшей семьи, к тридцати годам не просто выучился грамоте, но и выколотил у Министерства просвещения России (тупого и косного, как любое министерство) диплом народного учителя – уже это было достойно подвига, но Шайкину мало было святости, он настаивал на мученичестве. Терновый мой венец! Став, наконец, учителем, Абрам Лейбович, вместо того чтобы на этом угомониться, открыл в доме собственного отца школу – внимание! частную и светскую! – и в школе этой ежегодно в три смены училось по сорок-пятьдесят сопливых и глазастых крестьянских детишек – чудесных маленьких жиденят. Причем учил их Шайкин (между прочим, папаша семерых собственных вечно голодных отпрысков) арифметике и географии, а также прочим премудростям, крайне необходимым в этой заскорузлой и каменистой жопе мира. Разумеется, вся Малая Сейдеменуха как один считала Шайкина законченным идиотом, и, разумеется, несмотря на все его титанические усилия, грамотных и малограмотных в местечке было больше 70 процентов. Мировую гармонию не так-то легко нарушить, даже если ты не только еврей, но еще и святой. Особенно, если ты еврей. Да еще и святой.

– Лесик, вы тоже учились у Шайкина?

– Я вообще не учился, Мария Никитична, – очень серьезно отвечал Линдт. – Некогда было.

– Но родители-то у вас были? Почему вы никогда не расскажете про маму или про отца? – продолжала допытываться любопытная Маруся, не обращая внимания на умоляющие гримасы Чалдонова, деликатность которого корчилась от любого вмешательства в чужую и от того особенно драгоценную жизнь.

– Разумеется, были. Хотя я бы предпочел, чтобы меня нашли в капусте – желательно, вашего приготовления. – Линдт улыбался и придвигал к себе тарелку с припухшими загорелыми пирожками так, что было совершенно ясно, что продолжения беседы не будет. В капустную начинку Маруся непременно добавляла вареное вкрутую яйцо, черный молотый перец и грибы. – Это ведь белые, Мария Никитична? Замечательно вкусно.

После того памятного предрассветного признания Линдт несколько месяцев разговаривал с Марусей с валкой, уклончивой осторожностью соучастника или канатоходца – будто и впрямь что-то зависело от каждого слова или жеста, будто Маруся действительно услышала его или поняла. Потом ему наскучила и эта игра, очередной жалкий самообман – ходьба на живых израненных подошвах по вымышленной – словно в насмешку – веревке, натянутой над ярмарочной площадью, забитой зеваками, которым нет до него никакого дела, потому что их и самих попросту не существует. В качестве головоломки, упражняющей мозг, это было неплохо, но для жизни годилось мало. И Линдт надолго смирился с существующим положением вещей, как смиряешься рано или поздно с гравитацией, которая не позволяет летать, несмотря на то, что трудно вообразить себе что-то более естественное для человеческого тела, чем полет.

Все пошло по-прежнему – может быть, даже лучше. В конце концов, у Линдта была еще и работа, которую он ценил. Не служба, ежедневно выдиравшая из жизни кусок с девяти до семи, так что на радости свободного существования оставалось всего несколько часов, из которых большая часть вынужденно приходилась на сон и еду, а именно работа – к тому же отлично организованная со всех точек зрения. И справедливости ради надо было сказать, что работой этой – как, впрочем, и практически всем остальным – Линдт был обязан Чалдонову.

Чалдонов, правду сказать, недолго мучился, благоустраивая МГУ, – уже в конце восемнадцатого года, по горло сытый молодой большевистской бюрократией, он пошел на поклон к Жуковскому, да-да, к тому самому, к своему университетскому учителю, покровителю, практически к отцу.

Жуковский, когда-то приметивший среди своих студентов сообразительного деревенского паренька, не просто вывел его в большую науку, но и много усердствовал для того, чтобы большая наука оказалась к Чалдонову благосклонна. Брак своего выкорыша с Марусей он одобрил чрезвычайно и на свадьбе честно выполнил все утомительные обязанности шафера, включая держание венца (на цыпочках) над огромным Чалдоновым и выслушивание длинейших и занудных заздравных речей, которыми по очереди раздражались все ученые коллеги невменяемого от счастья жениха. Марусю Жуковский очаровал совершенно – тем, что по страшной своей, анекдотической рассеянности принял за даму старого приятеля Питоврановых – иеромонаха Серафима, несколько не смутившись наличием у последнего могучей рыжей бороды. Впрочем, праздничное бело-голубое облачение и пухлый зад отца Серафима могли ввести в заблуждение кого угодно, так что скисшей от смеха Марусе едва удалось спасти монашествующую особу, которую Жуковский во что бы то ни стало желал пригласить на пасадобль, не очень, правда, понимая, что это такое и как его, собственно, полагается танцевать.

Но в 1910 году, после многих лет замечательной дружбы, Жуковский и Чалдонов вдруг жестоко рассорились – причем по причине пустяковой и вопиюще антинаучной. Самым обидным было то, что сама эта причина почти мгновенно испарилась из памяти обоих – так исчезает порох, вспыхнув и дав снаряду возможность отправиться в смертоносный путь. Но, несмотря на это, все усилия Маруси и дочери Жуковского помирить двух упрямцев оказались тщетными. Жуковский и Чалдонов перестали не только встречаться, но и разговаривать, и это продолжалось – подождите-подождите... Господи помилуй! Восемь с лишним лет!

И вот Чалдонов, пламенея не только ушами, но и отчего-то даже носом, снова стоял перед своим старым учителем – теперь уже старым в самом прямом, мафусаиловом смысле этого слова. Разумеется, оба дореволюционно прослезились и дореволюционно же накрепко обнялись. Чалдонов извлек из-за пазухи заботливо добытый Марусей спирт – микроскопический мутный мерзавчик, который окончательно растопил и без того размякшее учительское сердце. Всласть обсудив и новую власть, и старых знакомых, пройдясь по поводу

вопиющих цен и вопиющей же невежественности общих научных оппонентов, Чалдонов и Жуковский вновь обрели душевное равновесие и друг друга. Оба так и не смогли припомнить, из-за чего вдруг так разобиделись, и нашли в этом поистине гоголевский комизм, который, не помирись они сейчас, мог обернуться вполне гофманианской грустью. Подумайте, Сережа, ведь я, старик, мог умереть, так и не сказав вам, как вы мне дороги!

Все это было бы невыносимо банально, если бы не трясущаяся голова Жуковского и не зияющие раны на его книжных полках. Топить было нечем, торговать – тоже, да и не случилось у много лет вдовевшего Жуковского ловкой Маруси, умевшей сменять пару отличных поленьев за пару отличных же золотых сережек и никогда потом об этих сережках не жалеть. Дочь ведь вся в меня, Сережа, такая же ни к чему не приспособленная дура... Только вдобавок еще и математики не знает. Как жить – ума не приложу. Да и нужно ли? Может, и правда нет в нас никакого толку?

Чалдонов возмущенно замахал руками – да что вы такое, Николай Егорович, да о чем это вы, лучше послушайте, что я придумал и зачем, собственно, позволил себе к вам явиться. Помните, мы с вами обсуждали волновое сопротивление артиллерийских снарядов? Жуковский, все так же трясая головой, заулыбался. Он помнил – еще бы он не помнил!

– Так вот, – заторопился Чалдонов, – вообразите, что можно не обсуждать, а поставить все на сугубо научную и даже промышленную основу, получить, так сказать, отдельное направление, свое собственное – с отдельным финансированием, но не в этом суть. Главное – снова заниматься делом, а не этой... – Чалдонов передернулся, вспомнив свои тягомотные эмгэушные муки.

– А что же вы сами, Сережа, не возьметесь? – полюбопытствовал Жуковский.

– Мне не дадут, Николай Егорович, – просто ответил Чалдонов. – Авторитету не хватает. Малограмотных пестовать мне еще, по их разумению, можно, а вот до войны могут и не допустить. Надо, чтобы вы пошли – вам непременно доверят, вы единственный из специалистов, кто... – Чалдонов замялся, и Жуковский твердо закончил за него:

– Кто еще не помер да не смылся за границу.

Оба угрюмо помолчали, мысленно примеряя на себя все названные варианты. Зима была непростая – и выбор был непростой. В ледяном воздухе дыхание Жуковского походило на слабые седые иероглифы, таявшие быстрее, чем кто-то успевал их прочесть. Он был старый, совсем старый, его было мучительно жалко. Но у Чалдонова на руках были Маруся и Линдт. И он не собирался сдаваться.

На следующее утро Чалдонов самолично проводил Жуковского до Кремля. Старик с трудом дошел – крошечный, ссохшийся, совсем затерявшийся в огромном заиндевевшем пальто, он то и дело оскальзывался, и Чалдонов едва успевал подхватывать легкое тельце, почти целиком уже принадлежащее иному миру. Аудитория длилась долго, и Сергей Александрович совсем промерз, прогуливаясь неподалеку от Боровицких ворот. Это были верхи, до которых Чалдонова пока не допускали, невзирая на безоговорочное принятие революции. Если бы они только знали, что в основе этого самого безоговорочного принятия лежало исключительно упрямство Маруси, не желавшей бросать родительские могилы и соленые огурцы, кадушечные огурцы в крепких пупырях и с хрустящими белыми жопками.

– Куда ты там собирался? В Англию? Где я возьму, по-твоему, в Англии хрен? А смородиновые листья? А дубовую кору, не говоря уж о самом дубовом бочонке! Нет, нет и нет! – Маруся сердито пролистала «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» (издание 22-е, исправленное и дополненное, СПб., 1901, Типография Н. Н. Клобукова, Пряжка, д. № 3) и продемонстрировала мужу нужную страницу. – Видишь, вот тут – соленые огурцы пятым манером готовятся исключительно с дубовой корой.

Чалдонов попробовал возразить, что если в природе существуют еще как минимум четыре манера соленья огурцов, то, вероятно, не стоит так заикливаться именно на пятом, и что в Англии наверняка сколько угодно хрена, и очень возможно, что и смородины тоже, а вот Елена Молоховец – совершенно точно плохой советчик в вопросах, которые касаются жизни и смерти.

– При чем тут Молоховец! – возмутилась Маруся. – Для меня соленые огурцы – вопрос жизни и смерти!

И они никуда не поехали, конечно.

Через два часа Чалдонов уже смирился с тем, что Жуковского, вероятнее всего, арестовали или даже там же, в Кремле, расстреляли – про расстрелы рассказывали страшные вещи, совершенно в афанасьевском, сказочном, жутком духе. Только слушателям было не по пять лет и никакие попытки зажмуриться или проснуться ничего не меняли. Но спустя еще четверть часа Жуковский вдруг появился в сопровождении молодого обходительного солдатика – живой, невредимый, страшно довольный, и даже надвое разделенная борода его серебрилась, будто заправский бобровый воротник, давным-давно отпоротый и сменянный на масло, которое, впрочем, оказалось прогорклым.

Еще через несколько месяцев, в начале девятнадцатого года, специально для Жуковского открыли институт с лязгающей аббревиатурой ЦАГИ вместо названия – очень небольшой институт, но с очень чрезвычайными полномочиями. Компания, которая собралась там, под руководством Жуковского, со временем вся целиком переехала в энциклопедии и справочники, причем не только в советские, но и в мировые, так сказать – всепланетного масштаба умы собрались тут, господа, а это значит, что и результаты у нас сами должны быть всепланетными. Чалдонов сидел по правую руку от учителя – на правах заместителя и автора идеи. Он предусмотрительно оставил за собой кафедру в МГУ, но все основные силы, разумеется, отдавал Жуковскому, в котором, несмотря на кажущуюся дряхлость, оказался просто невиданный, почти противоестественный запас сил. Институт под его руководством пытел, как кипящий чайник, активно строился, раздражался блестящими идеями, выполнял правительственные заказы, попирал, открывал сияющие вершины, неистово ниспровергал.

В феврале двадцатого года Жуковский подхватил пневмонию – уже этого было вполне достаточно для того, чтобы отправиться на кладбище, но Жуковский выкарабкался, хотя, пока он плавился в старческом жару, сгорела от чахотки его дочь, даже не смейте мне сочувствовать, отрезал он, и никто не смел – да и не помогло бы, если честно, никакое сочувствие. В июне Жуковский перенес инсульт, от которого тоже умудрился оправиться, будто во время той заветной аудиенции в Кремле действительно продал душу пролетарскому дьяволу, иначе нельзя было объяснить то, что даже частично парализованный старик смог надиктовать курс теоретической механики стайке ничего не понимающих и бойких стенографисток. Он составил собственную автобиографию, сухую, скромную, небольшую, как он сам, завещал остатки роскошной когда-то библиотеки молодой советской республике, после чего немедленно заболел тифом и перенес второй инсульт, который тоже его не убил, хотя и помешал бурно отпраздновать пятидесятилетие научно-педагогической деятельности.

Воистину проверить такое было не под силу даже дьяволу. Завод закончился только в промозгом марте 1921 года – Жуковского похоронили в Донском монастыре, и ЦАГИ унаследовал Чалдонов. Разумеется, со дня открытия института в нем работал и Лазарь Линдт.

Кстати, Жуковскому Линдт не понравился совершенно.

– Я понимаю, Сережа, он талантливый самоучка, самородок, а это всегда чертовски обаятельно...

– Гений, Николай Егорович, – тихо уточнил Чалдонов. – Не самородок, а гений.

Жуковский, как любой педагог, не терпевший, чтобы его перебивали – пусть даже и по делу, – сердито потарахтел пальцами по обеденному столу. Кабинет, выделенный ему в ЦАГИ, был еще огромнее и холоднее, чем обиталище Чалдонова в МГУ, потому работать Жуковский предпочитал дома. Так сказать, и стены помогают.

– Хорошо – пусть он гений, хотя это и очень спорный вопрос. Но, помилуйте, он же совершенно бездушный. Весь какой-то ломаный, колючий, вывернутый – только не наизнанку, а вовнутрь. Ни малейшего почтения ни к чему, никаких авторитетов, вплоть до прямого хамства.

– Николай Егорович, – снова позволил себе перебить Чалдонов. – Мальчику едва исполнилось девятнадцать. Он бог весть откуда пришел пешком – из какого-то жуткого поселения, всех его родных расстреляли, сам чудом спасся. Вы про еврейских колонистов слышали? У них и в прежние-то беззубые времена был голод и каменный век. А что там сейчас творится, представляете? Лазарь – по всем законам Божеским и статистическим – должен быть вообще неграмотным, а поди же – не только меня, но и вас в тупик умудряется ставить. А почтение в науке – сами знаете, ведет только к застою да мелкому чиновничеству...

– Не знаю, не знаю, Сережа. Я вот вас в девятнадцать лет помню – вы тоже не из дворца прибыли, но совсем другое производили впечатление, так что на возраст и социальную среду не стоит пенять. Да, не стоит-с!

– Я никогда не был гением, Николай Егорович, – тихо признался Чалдонов и помолчал, давая Жуковскому возможность примерить это утверждение и на

себя. Нигде не жало, все было чистой и грустной правдой. – Потому я вас нижайше, нижайше, самым покорным образом прошу...

– Бросьте эти глупые церемонии, Сережа! – рассердился, наконец, Жуковский, что всегда у него было признаком окончательной капитуляции. – Хотите нянчиться со своим приبلудным еврейчиком, ради бога. Что вы от меня-то хотите? Чтоб я его в академики произвел?

– Только одну-единственную подпись, – обрадованно зачастил Чалдонов, – академиком Лазарь и сам станет, вот увидите, но для начала ему надо хоть какую-то бумагу об образовании выправить. У него ведь за душой ничего, кроме метрики о рождении, да и та, кажется, фальшивая. Ему хоть сейчас свой отдел в институте давай, а он у нас по всем официальным параграфам – ноль. А за вашей подписью можно ему и полный аттестат о высшем образовании выхлопотать!

– Ладно, – проворчал Жуковский. – Приводите своего вундеркинда на следующей неделе. Но сразу предупреждаю – никаких поблажек.

Поблажек и правда не было. Лазарь Линдт в чалдоновском старом сюртуке, который Маруся ловко подогнала ему по фигуре (смотрите, какой великолепный камлот, Лесик, ангорка с шелком – я всегда знала, что ему сносу не будет!), словно почувствовал неприязнь Жуковского и держался с замечательной скромностью, которая очень ему шла. Он уже оброс после первичной санобработки, но диких кудрей больше не запускал, щеголял крупной головой в гладких, каракулевых полузавитках, да и вообще больше не выглядел беспризорным оборванцем. На, прямо скажем, непростые вопросы своих маститых экзаменаторов отвечал быстро, корректно и удивительно скучно, так что Чалдонов пару раз поймал на себе насмешливый взгляд Жуковского. Хорош гений, нечего сказать. Вызубрил три учебника и похваляется.

Смущенный Чалдонов почувствовал себя неудачливым антрепренером, который собрал полное шапито для демонстрации ученой собаки, знающей четыре основных арифметических действия, и внезапно осознал, что на арене с важным видом сидит очень славная, но совершенно бестолковая дворняга.

– А вы не хотите поговорить об уравнении Максвелла для электромагнитного поля, Лазарь Иосифович? – сказал он, пытаясь хоть немного спасти положение. –

Мы недавно с вами очень интересно рассуждали об этом.

- Нет, - отказался Лазарь вежливо, но твердо. - Не хочу.

- Не имеете собственного мнения, коллега? - ядовито осведомился Жуковский, очень довольный сорванным представлением.

- Имею, Николай Егорович, - признался Линдт. - Но вам мое мнение наверняка покажется неутешительным.

- Это отчего же? - уточнил Жуковский, не чуя подвоха.

- Оттого, - отчеканил Линдт, - что ни одну из проблем электромагнитного поля, а уж тем более световых скоростей невозможно решить на основании уже упомянутого вами уравнения Максвелла и классической механики. При этом вы утверждаете обратное. Зачем же я буду спорить с некомпетентным оппонентом?

Чалдонов ахнул и зажмурился, будто трамвай на его глазах зарезал беспечного и полнокровного провинциала, а Жуковский молча разинул рот, отчего вдруг стал похож на Деда Мороза из детской книжки, только очень обескураженного тем, что его разоблачили. Линдт слегка поклонился обоим - это можно было расценивать и как извинение, и как издевательство.

- Но п-позвольте, уважаемый, - пробормотал Жуковский, приходя в себя. - То есть вы хотите сказать, что... Разумеется, никакой здравомыслящий человек не станет спорить с тем, что с возрастанием скорости и с приближением ее к световой величина ? приближается к нулю, и, следовательно, масса тела растет до бесконечности. Все это весьма любопытно для радиологии, но зачем же впадать в эйнштейновскую метафизику, если можно прекрасно обойтись и обыкновенной механикой. Макс Абрагам давно составил уравнения движения электронов с помощью уравнений Максвелла...

- Ваш Макс Абрагам - просто неуч! - отрезал Линдт, и тут Чалдонов наконец-то не выдержал и принялся хохотать - простонародно ухая и отдуваясь. Жуковский какое-то время с изумлением смотрел на него, а потом вдруг сам рассмеялся дробным, чудесным, старческим смешком - уютным и сухим, как рассыпавшиеся сушки.

– Ну, засранец! – пропищал он восхищенно, тыкая в Линдта желтоватой лапкой, честно говоря, очень похожей на куриную. – Удивительный засранец! На какой помойке, вы, Сережа, его нашли? Из-за стола едва торчит, а туда же – огрызается!

Еще час все трое сладострастно спорили, пока, наконец, не утомили друг друга окончательно. Жуковский придвинул к себе злосчастное ходатайство, взмахнул острым, всеми цветами побежалости отливающим пером.

– Но позвольте, вдруг протянул он недовольно. – Помимо физики и математики в аттестате есть и другие предметы. География, например. Или эта... как ее, бишь... словесность!

– Это все Маруся, Николай Егорович, – выпалил Чалдонов явно заранее заготовленный ответ.

– Что – Маруся? Сдавать будет за вашего гения?

– Нет, что вы, боже упаси! Маруся лично с мальчиком занималась и, можете поверить...

– И не сомневаюсь, что занималась, – проворчал Жуковский. – Вслух, поди, сказки зачитывала этому обалдую. Афанасий Никитин. Хождение за три моря. Поди, оба были без ума от удовольствия.

Он быстро поставил в нужном месте щеголеватую подпись старого педагога – обманчиво простую и круглую на вид, но снабженную таким мудрено закрученным хвостиком, что всякая возможность подделки исключалась в принципе.

– Да, и не задирайте нос, засранец! – назидательно сообщил он Линдту. – Эта подпись – дань уважения Сергею Александровичу и большой аванс вам. Пробелы в вашем образовании сравнимы лишь с пробелами в вашем же воспитании. Вам придется много учиться. Очень много. Например, иностранные языки. Уверен, что вы не знаете ни английского, ни немецкого. А ведь без немецкого невозможно! Это язык большой науки!

Линдт кивнул. Немецкий действительно был полезным инструментом. Хотя бы потому, что недалеко от Малой Сейдеменухи мыкали горе немецкие колонисты – им приходилось так же несладко, как евреям, но, в отличие от последних, немцы дружили не только с головой, но и с руками. Когда речь идет о совместном покорении черствой херсонской земли, идиш и немецкий становятся особенно похожими. Кровь и пот разных народов неотличимы на вкус. И еще слезы. Пожалуй. Еще и слезы. Поэтому спорить по поводу немецкого Линдт не собирался и, стоя в первых числах августа сорок первого года в нескончаемой очереди в военкомат, мысленно раскатисто повторял из Фауста самое любимое:

Ja, was man so erkennen hei?t!

Wer darf das Kind beim Namen nennen?

Die wenigen, die was davon erkannt,

Die t?richt g`nug ihr volles Herz nicht wahrten,

Dem P?bel ihr Gef?hl, ihr Schauen offenbarten,

Hat man von je gekreuzigt und verbrannt...[1 - Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос. На этот счет у нас не все в порядке. Немногих, проникавших в суть вещей И раскрывавших всем души скрижали, Сжигали на кострах и распинали, Как вам известно, с самых давних дней. Гёте, Фауст. Перевод Б. Пастернак]

Вслух нельзя, конечно – за немецкий можно было теперь и по сопатке схлопотать, но в военкомате его произношение наверняка оценят. Не дураки же там сидят, в конце концов. Да если даже и дураки – знание языка противника считается преимуществом по законам любого военного времени. Его должны взять. Просто обязаны. В конце концов, ему всего сорок один! Линдт огляделся – вокруг было не так уж много откровенных мальчишек. Вон тот, например, в клетчатой рубашке, с худым, обглоданным какими-то невзгодами лицом, – ему никак не меньше сорока пяти. Почувствовав на себе взгляд, мужчина оглянулся, посмотрел на Линдта тоскливыми, в темноту провалившимися глазами. От какой судьбы ты удираешь на фронт, бедолага? С чего решил, что на этот раз тебе повезет? Мужчину толкнул какой-то крепкий мордастый парень, мазнул по лицу набитым вещмешком и, даже не заметив, оттеснил в сторону.

Очередь беспокойно шевелилась, извивалась, то вытягиваясь напряженной стрункой, то хаотично запруживая часть улицы. То там, то тут то и дело

взвизгивала гармошка и кто-то принимался отчаянно плясать, словно вколачивая свой страх в булыжную мостовую. В ответ гармошке взвизгивала, не выдержав, баба, принималась голосить, оплакивая своего Вовку или Кольку, всех-всех, пока целых, пока крепких, потных, переминающихся с ноги на ногу, галдящих. Родных. Бабу тут же затыкали, и она, всхлипнув, припадала к мужнину или сыновнему плечу, отчаянно пытаюсь надышаться родным запахом на всю войну. Никуда не отпущу, не отпущу, говорю, на кого ж ты меня покидаешь, милы-ы-ы-а-а-а-ай! А ну цыц, дура! Не позорь меня перед ребятами, говорю!

Линдт был один – как положено, как всегда. Никто и предположить не мог его в этой очереди, и от этого почему-то было весело и радостно, будто перед... Линдт замялся. Он не помнил – когда и от чего ему в последний раз было радостно. Может быть, если бы в детстве у них в доме хоть что-то праздновали, наряжали елку, шуршали за дверью заманчивыми пакетами с подарками. Он усмехнулся. Будем считать, что ему весело и радостно, как и положено перед войной.

Линдт вдохнул поглубже теплый, коричный, почти пряничный дух московских мостовых. К осени этот город вспоминает свое деревенское происхождение и начинает пахнуть яблоками, булками, хрустящим новеньким ситцем, крепкой, медленно охлаждающей листвой. Нет ничего прекраснее Москвы в сентябре, и нет ни малейшей надежды, что к ноябрю война закончится, хотя в очереди только об этом и говорили. Линдт понимал, что к ноябрю все как раз только начнется, – для такого анализа хватило бы и втрое меньших, чем у него, мозгов, но во всеобщую истерически оживленную болтовню не вмешивался. Пусть себе. Они всего лишь люди. Бедные люди. Пример тавтологии. Главное – чтобы в военкомате его не завернули назад.

Из-за угла вывернул шустрый лупоглазый автомобиль, тормознул у тротуара, ослепив будущих солдатиков лаковыми бликами. «Мамочки родные, это ж „Хорьх-853“, тридцать пятого года!» – почти простонал паренек за спиной у Линдта, будто, взгромоздившись на десяток ящиков и с трудом удерживая равновесие, добрался наконец-то до заветной щелки в стене и увидел голую девушку. Настоящую голую девушку. Нежно-бархатную, мутно-лунную, едва различимую в парном банном полумраке.

Из «хорьха», ловко хлопнув черно-белой дверцей, вышел невиданный недоросль – рослый, круглоголовый, улыбчивый, в нездешнем твидовом костюмчике. Обомлевшая толпа, не веря свои глазам, наблюдала маленький щегольской

чемодан из натуральной кожи, короткие штаны, ловко обхватившие наливные икры, затянутые – да нет, так просто не бывает! – в плотные гольфы. Бля буду, буржуй! – с восторгом матюкнулся кто-то за спиной у Линдта. Да какой! Просто буржуище! Чтоб ты понимал, поправили его недовольно. Не буржуй, а иностранец. Иностраный корреспондент. Статью будет про нас готовить.

Между тем иностранный корреспондент вальяжным манием отпустил свою невероятную машину и отправился в самую гущу очереди – все с той же ликующей, придурковатой улыбкой очень молодого и очень здорового человека, который каждое утро ест белый хлеб со сливочным маслом и розовой, слегка слезящейся ветчиной. Плюс теплое молоко, разумеется. В тонком голубовато-овальном стакане. Сытый какой, прямо боров! – позавидовали в очереди от чистого сердца.

Недоросль помялся секунду в нерешительности, а потом, с поразительной безошибочностью отыскав в толпе своего, подошел к Линдту. «Здравствуйте, – сказал он приветливо на чистейшем, чудеснейшем, сочном русском языке. – Простите, пожалуйста, что обращаюсь. Мне бы хотелось записаться на фронт, но я не знаю – с чего начать...» Линдт хотел ответить, но не успел – потому что невиданного парня тут же смыло волной народной любви. Он в буквальном смысле пошел по рукам – его хлопали по круглым твидовым плечам, приветственно матюкали, тискали, как умильного щенка, хором орали, пытались выяснить, откуда взялось такое нелепое чудо. Это как же это, бля, так, выходит, ты наш? Откудова ты такой свалился? Генералов сынок, не иначе! Не, мужики, мы точно победим – гляньте, да такую морду на танке не объедешь! Точно, в танкисты его! Не, лучше в летчики. Бомбить им будем – ни одного фрица не останется. Все со страху обосрут. Да не орите так – как зовут-то тебя, миляга? И где ты штаны потерял? Он не потерял, он из их вырос! А мамке длинные купить не на что!!!

Это было похоже на взрыв – взрыв всеобщего облегчения. Несколько часов толпа была будто фурункул – синевато-багровая, омертвелая от страха, болезненно-напряженная. Появление смешного пацанчика, одетого, как Мальчиш-Плохиш, но вполне Кибальчишного по всему остальному, словно выпустило из людей мучительно копившееся напряжение: гной, страх, липкая сукровица – все вырвалось наружу вместе с истерическим весельем. Даже в восемнадцатом году не было так страшно. Линдт точно это помнил. В восемнадцатом было по-своему весело.

Обретший имя недоросль, – Сашка меня зовут, Сашка Берензон! – сияя, как нагой румяный зад на морозе, отвечал разом на все вопросы, одновременно пытаюсь открыть свой пижонский чемоданчик. В чемоданчике оказался импортный бритвенный прибор фирмы «Золинген» и два пакетика конфет грильяж. Угощайтесь! Это мои самые любимые! Таких даже в Берлине ни за что не достать! Зачем заливаю! Я в Берлине пять лет прожил.

Так тайна «хорьха», гольфов и коротких штанишек была раскрыта.

Сашка – он же Александр Давидович Берензон – оказался всего-навсего сыном дипломатического работника, молодым славным обалдуем, преисполненным патриотических порывов самого наивного толка. Пока его отозванный по военному времени папаша ворочал государственными делами где-то в Кремле, Сашка решил отправиться добровольцем на фронт, что и проделал незамедлительно. Мужики, разинув рты, слушали его рассказы о берлинских улицах и кофейнях, причем Сашка по младости лет все больше напирал на мороженое, а простодушная публика требовала историй про баб. Правда ли, что без подштанников ходят и платья насквозь просвечивают?

– Про подштанники ничего не знаю, – со стыдом признался Сашка. Народ разочаровано загудел. – Зато! Зато! Зато я Гитлера видел! – выпалил Сашка, пытаюсь спасти пошатнувшееся положение. Все примолкли. Гитлер – это было серьезно.

– Ну и какой он? – серьезно спросил коренастый мужик лет тридцати пяти, по виду – потомственный мастеровой.

– Да никакой! – ответил Сашка. – Плюгавый, усишки под носом! Я б его одной левой.

– Плюгавый, говоришь? – откликнулся мужик. – Одной левой? То-то плюгавый этот нас от границы гонит, как кутят...

– Провокатор! – завизжала немедленно какая-то тетка. – Товарищи! Среди нас провокатор! Не позволим врагу сломить наш боевой дух!

Толпа, забыв про Сашку, сомкнулась вокруг мастерового, все орали, доказывая друг другу, а больше – самим себе, что мы фашистов одной левой, шапками

закидаем!

Снова стало пронзительно страшно.

Растерянный Сашка все еще протягивал пакетик с остатками грильяжа, но его уже никто не замечал.

– Как вы думаете, – робко спросил он у Линдта, – меня возьмут? Вы не подумайте! Я очень сильный! Каждое утро зарядку делаю.

Линдт неопределенно пожал плечами – будь его воля, он бы не подпустил этого славного сопляка даже к игрушечному ружью.

Через два часа оба вышли на крыльцо военкомата. Белый от унижения Линдт не знал, куда девать глаза. Военком, злой, узкий, похожий на протертый спиртом ланцет, обложил его тихим, скучным и от того особенно неприятным матом. В бирюльки вздумали играть, товарищ ученый? Пострадать захотелось? За родину повоевать? Ты хоть сам знаешь, какая у тебя броня, профессор? Как у КВ-2! Тебе не на фронт, тебя самого надо под охрану! Под трибунал меня подвести решил, да, герой ебаный? Самому жить неохота, решил за собой еще кого-нибудь потянуть? А ну слушай мою команду: кру-гом и на хуй отсюда шагом марш! Немедленно!

Получивший направление на курсы младших командиров Сашка ликовал и трещал, как праздничная шутиха. Линдт крепко пожал ему руку, впервые в жизни ощутив себя старым, никому не нужным. Ни Марусе, ни Родине не требовались его добровольные жертвы. Никому. Вокруг гудели, напирали, размахивали руками и орали добровольцы. Девяносто процентов из них, оказавшись на фронте, погибнет в первые дни и месяцы боев. А Сашка – Александр Давидович Берензон – останется.

(Профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права Международного юридического института, дамский угодник, лакомка и жуир, он умер только в прошлом году. И даже в восемьдесят восемь лет все еще был похож на рослого, пухлощекого, балованного барчука.

Не верите – спросите у Яндексса.)

Из военкомата Линдт, подавленный, сразу осунувшийся, пришел к Чалдоновым – ноги сами принесли его к Марусе, точно так же, как руки сами положили на прилавок Елисеевского деньги. Мне буше, пожалуйста, меренги, тарталетки – всех по паре. Нет, давайте лучше по пять. Хорошенькая, румяная продавщица, сама похожая на горячую, сочную, обливную ромовую бабу, оттопырив толстенький мизинец, ловко укладывала пирожные в большую коробку. «Картошку не желаете? Имеется обсыпная и глазированная», – пропела она нежным, заговорщицким тоном, словно предлагала Линдту бог весть какие пряные и запретные услуги. Клиент был интересный – бледный, маленький, нервный. Еврейчик, конечно, но сразу видно, что при солидном положении и деньгах. Одет прекрасно. А что немолодой – так его ж не варить. Линдт с машинальным удовольствием оценил и трогательные ямки на локтях продавщицы, и тугую, нежную силу, с которой она распирала свой белый, отлично крахмаленный халат. Наверняка неумелая, но жадная и жаркая, так что хватит на десятерых. Не сейчас, милая, извини. Нетнет, а вот трубочки не надо, спасибо. Маруся терпеть не могла трубочки.

У Чалдоновых – впервые на памяти Линдта – царил самумный разгром. Маруся, складывающая одновременно три чемодана, при виде коробки из Елисеевского всплеснула руками и выронила вязаный жилет Чалдонова, который безуспешно пыталась втиснуть между собственными туфельками и архивом мужа. Вы с ума сошли, Лесик! Пирожные! В такое время! Линдт подобрал с пола жилет, ловко свернул в тугую тубу. Вот так поместится. Да в какое – такое время, Мария Никитична? Голодно будет только к зиме, отчего же сейчас-то себя ограничивать? Вы затеяли переезжать? Или просто нервничаете?

Маруся недоверчиво заглянула Линдту в глаза – он был мастер разыгрывать, дурить, насмехаться. Парадоксальный склад ума, парадоксальное чувство юмора, полное бесстрашие. На грани с идиотизмом. И в ЦАГИ, и в МГУ ходили легенды о шуточках, которые Линдт отпускал, не считаясь ни с табелями, ни с рангами. Двадцатипятилетним мальчишкой он чуть не довел до инсульта Лидию Борисовну Ильенко, секретаря ученого совета, – даму, которая славилась своей монументальностью во всех областях, включая человеческую глупость. Говорили, что она повелевает диссертациями, научными светилами и даже кометами. Что дрожание ее второго подбородка есть великий признак. Что она спит с кем-то из партийных сфер настолько высоких, что это уже предполагало некую автоматическую, так сказать, профессиональную бесполость. Впрочем, мало кто верил в то, что охотник до лежалых прелестей Ильенко найдется даже

в высших сферах, – а ведь истинные коммунисты, как известно, способны на любые подвиги.

Однако легенды легендами, а Ильенко действительно трясла академиками, как вениками, так что даже самые почтенные и седовласые жрецы науки лебезили перед ней, как нашкодившие щенки. Все, кроме Линдта, который предпочитал Лидию Борисовну просто не замечать. Впрочем, однажды она остановила его на пороге аудитории, в которой намечался очередной научный шабаш.

– А вы, собственно, куда, молодой человек? – пропела она тоном, не предвещавшим ничего хорошего. – Вы же, кажется, даже не член ученого совета?

– Совершенно верно, Лидия Борисовна, – любезно согласился Линдт. – Я не член ученого совета. Я его мозг.

И что вы думаете? С Линдтом не произошло ровным счетом ничего страшного, если, конечно, не считать того, что опившаяся валерианы и полностью деморализованная Ильенко раз и навсегда выучила его имя и отчество. Раз и навсегда.

Но нет, в этот раз Линдт точно не смеялся, уж кто-кто, а Маруся не могла ошибиться. Вы что, правда не знаете, что нас всех отправляют в эвакуацию? В институте с утра приказ вывесили. Сергей Александрович звонил, велел срочно собираться. Вас что, не вызвали в институт? Что вы все молчите, Лесик? Где вы болтались полдня? Линдт неопределенно пожал плечами, выкладывая на блюдо хрупкие, чуть похрустывающие меренги. Раз уж Марусе не придется собирать на фронт его, пусть хотя бы спокойно укладывает вещи мужа.

– Лесик, признавайтесь, у вас опять роман? – догадалась Маруся, по-своему истолковав молчание Линдта. – И что же – на этот раз все наконец серьезно?

Линдт снова промолчал, и Маруся, мгновенно забыв и про эвакуацию, и даже про войну, заспешила по волшебной дороге, вымощенной желтым кирпичом, – навстречу чужому обаятельному счастью. Как любая бездетная женщина, она обожала сватать, крестить, сговаривать, провожать под венец и бережно принимать на руки кряхтящих увесистых младенцев – словом, подкладывать собственные несбывшиеся мечты под несимпатичные условности реальной жизни. Это был один из немногих способов превратить в праздничную парчу

самый затрапезный ситчик, а уж Маруся знала толк в отличных тканях.

– И вы даже не пригласили ее к чаю! Как не стыдно! А ведь мы с Сергеем Александровичем, кажется, имеем некоторое право! – попрекала она Линдта, быстро отбирая у него опустевшую коробку, смахивая со стола невидимые крошки, недостойные соседства с чашками самого заурядного советского фарфора, который выглядел в ее руках драгоценным, китайским, костяным... Маруся двигалась, мягкая, легкая, шелковая на сгибах, прелестная, вот именно – прелестная, и никакое время было не властно над этой прелестью, над этими нежными губами, над этой сединой, которая так рифмовалась с кружевными манжетами на ее платье и с голубоватыми жемчужинами в мочках ушей. Он сам подарил ей эти сережки – с первого серьезного гонорара за первую серьезную монографию. Как там у Гёте?

Ihn treibt die G?rung in die Ferne,

Er ist sich seiner Tollheit halb bewu?t;

Vom Himmel fordert er die sch?nsten

Sterne Und von der Erde jede h?chste Lust,

Und alle N?h und alle Ferne

Befriedigt nicht die tiefbewegte Brust...[2 - Он рвется в бой, и любит брать преграды,И видит цель, манящую вдаль,И требует у неба звезд в наградуИ лучших наслаждений у земли,И век ему с душой не будет сладу,К чему бы поиски ни привели.Гёте, Фауст. Перевод Б. Пастернак]

– Да вы меня не слушаете, Лесик! – возмутилась Маруся. – А я между тем мечтаю о внуках. Когда вы наконец-то соизволите жениться? Я не хочу умереть, так и не увидев ваших детей. – А вы и не умрете, Мария Никитична, – спокойно сказал Линдт. – Только не вы. – Я обещаю.

Он легко поймал ее маленькую горячую руку, прижал к губам – в который раз поражаясь аромату: полдень, полный солнечной соломы и спелых яблок, сонный, огненный, душноватый чердак, украдкой сорванные, спелые поцелуи. Все наладится. Все наладится именно в этой жизни, потому что никакой другой жизни не бывает.

Пришедший через два часа Чалдонов, взмыленный от непрерывных начальственных взъёбок, застал жену и Линдта мирно распивающими чай. В углу высилась аккуратная гряда уложенных ящиков и чемоданов, а Маруся убеждала Линдта в том, что буше в ее исполнении ничуть не уступает елисейским, а во многом даже и превосходит. Линдт весело сопротивлялся, а на тарелке, предусмотрительно отставленной к самому дальнему краю стола, подсыхали честно оставленные Чалдонову пирожные. Буше среди них не было, потому что Маруся – подыскивая подходящие аргументы – съела все пять штук.

В конце августа сорок первого года ЦАГИ практически в полном составе отбыл в эвакуацию в Энгельс. И даже Линдт, покачиваясь в купе, задремывая, прижимаясь виском к пульсирующему вагонному стеклу и машинально подсчитывая русские бесконечные версты, не догадывался, что эта дорога – навсегда.

До места добирались почти месяц – неслыханная скорость по тем временам, когда на каждой узловой станции собирались десятки составов и приходилось стоять часы, а то и дни. В тупиках дремали, обрастая корнями и простиранным бельишком, сотни теплушек, больше уже похожих на дома. По перрону бродили эвакуированные, ревели младенцы, ссорились звереющие от непосильного быта бабы, пацанва постарше азартно играла в войнушку, курили, сплевывая на щебенку горькую слюну, измотанные ожиданием мужики. То и дело пробегали с матюками железнодорожники, потные, яростные, надолго позабывшие про отдых, сон, семьи, пироги. Приставать с расспросами и жалобами было бесполезно – птенцы Лазаря Моисеевича Кагановича, они прекрасно знали крутой нрав народного комиссара путей сообщения. Шутить железный нарком не любил и частенько повторял, что у каждой катастрофы есть имя, фамилия и отчество. Так было до войны, а теперь рассчитывать на благодущие и вовсе не приходилось. Все понимали, что сажать за халатность больше не будут – расстреляют тут же, под насыпью, во рву некошеном. Прямо за эшелонам, который вовремя не отправился на фронт.

Для состава, в котором следовал в эвакуацию ЦАГИ, делались, впрочем, все возможные исключения – в Энгельсе для обеспечения армии всем необходимым планировали развернуть крупнейший военно-промышленный комплекс, а в ту пору советская власть запланированное в жизнь воплощала жестко. На тесном провинциальном вокзальчике (Энгельс стал областным центром только в тридцать седьмом – вопреки современным учебникам истории, случались в том году и праздничные события) поезд, полный отборных столичных мозгов, встретила

большая и очень деловитая делегация. Бестолковый ученый люд стремительно рассовали по грузовикам и отправили по месту новой приписки, а Чалдонова и прочее начальство увезли в горком – совещаться, причем Чалдонов в последний момент прихватил и Линдта, нашептав на ухо главному принимавшему их партийцу что-то такое, отчего бедный толстяк немедленно взопрел и даже присел от внезапно нахлынувшего уважения. Линдт упирался, как ребенок, которого уводят спать как раз, когда за столом собрались все гости, но напрасно – его любезно затолкали в «ГАЗ-М1», в овальном заднем окошке мелькнула Маруся, оставшаяся на перроне в толпе растерянных женщин, визжащих детей и взлохмаченных узлов. Семьями, как всегда, норовили заняться в самую последнюю очередь.

– Да не дергайся так, ради бога, Лазарь, – устало попросил Чалдонов, лязгая зубами – в «эмке» трясло немилосердно, дороги в Энске были сквернее скверного всегда. – Во-первых, я уверен, что мы ненадолго. Вовторых, поверь, Маруся и сама прекрасно справится.

– И не сомневайтесь! – встрял партийный толстяк, перевесившись с переднего сиденья. – Все будут размещены и устроены в течение двадцати четырех часов. В полном соответствии. Согласно всем нормам. Приказ наркома!

И точно – цагишные жены не успели даже толком поволноваться, как были взяты в оборот летучим отрядом веселых военных, неистово мечтающих о фронте, но вынужденных, вашу мать, черт-те чем тут в тылу заниматься. Они лихо разобрались на двойки и принялись заталкивать столичных теток (среди которых попадались прехорошенькие) по машинам. Маруся досталась круглолицему румяному офицеру, стянутому хрустящими ремнями, как праздничный букет. Пока рядовой размещал чалдоновский скарб в персональном грузовике (академикам везде у нас почет!) и вез дорогую гостью до нового места жительства, говорливый лейтенантик успел дважды рассказать Марусе свою нехитрую, но доблестную жизнь. Несмотря на единство времени, слушательницы и места, версии разительно отличались друг от друга, но и в одной и в другой главный герой решительно преодолевал все препятствия и обретал полцарства (отдельную комнату в восемь метров) и прекрасную королеву (Наталья у меня, вы бы видели – во! Меня на одной руке подымет!) и бог знает еще какие сказочные дивиденды.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Что значит знать? Вот, друг мой, в чем вопрос.

На этот счет у нас не все в порядке.

Немногих, проникавших в суть вещей

И раскрывавших всем души скрижали,

Сжигали на кострах и распинали,

Как вам известно, с самых давних дней.

Гёте, Фауст. Перевод Б. Пастернак

2

Он рвется в бой, и любит брать преграды,

И видит цель, манящую вдали,

И требует у неба звезд в награду

И лучших наслаждений у земли,

И век ему с душой не будет сладу,

К чему бы поиски ни привели.

Гёте, Фауст. Перевод Б. Пастернак

Купить: https://tellnovel.me/ru/stepnova_marina/zhenschiny-lazarya

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)